

Юля Кисина

БУБУШ

роман

Магии пистолета поклоняются дети и сатана.

Надпись на зеркале

ПРИЗРАКИ

Мы жили между призраками. Главным призраком была его мать. Поначалу она была тринадцатилетним подростком.

Каждый раз, многократно и ежедневно, и на протяжении десятилетий, повторялась одна и та же сцена в оккупированном Париже. Всем приказано прийти на велодром Вель д'Ив, чтобы там ждать отправки в немецкие или польские лагеря. Но об этом пока ещё никто не знает. В тридцатые, когда многим отказали в получении французского гражданства, им пришлось принять католицизм, но это никого не спасает. Большинство из «приглашённых» всё равно будет отправлено в Аушвиц. Он повторяет это слово с особым выражением, будто разжёвывает горчичное зерно.

Его будущая мама и бабушка выходят из дома. Дом находится в районе вокзала Аустерлиц. Бабушка — тогда ещё совсем молодая женщина с живыми блестящими глазами и аккуратно уложенными волосами — заранее пришила жёлтую звезду на трёх нитках, то есть на соплях. Она всё время что-то предчувствовала.

Середина лета. Прекрасное время для романтических прогулок по Люксембургскому саду. На молодой женщине чёрное шёлковое платье в белый горох и красный берет. За спиной — рюкзачок. На девочке синее ситцевое платье, а под мышкой плюшевый заяц — воспоминание об отце. Несмотря на то что у них в руках чемодан, кажется, что они вышли из дому для воскресной прогулки. Прохожие прячут глаза. В этот день, шестнадцатого июля тысяча девятьсот сорок второго года, Франция колеблется между страхом и стыдом.

По улицам идёт толпа таких же нарядно одетых людей с жёлтыми звёздами

и жёлтыми повязками. Звёзды у всех очень разные. Одни сделаны наспех и самостоятельно, сшиты из лоскутков, другие набивные, куплены в префектуре. У детей они совсем крохотные и смотрятся как маленькие украшения. Женщины пахнут духами. Сегодня они надели всё самое лучшее, что у них есть. В руках у многих фибровые чемоданы. Некоторые толкают перед собой коляски и велосипеды, другие везут за собой тележки с вещами. Но вот кто-то замешкался впереди.

— Да здравствует Франция! Да здравствует великий французский народ! — кричит толпа.

Теперь кто-то потерял сознание. Девочка бросает чемодан на тротуар рядом с фонарным столбом, и на чемодан набрасываются зеваки.

— В чемодане ничего нет! Они несли его для маскировки! Лови их! Где они?

Ещё одна заминка. Они быстро отделяются от толпы. Шмыгнули за угол, сорвали с себя жёлтые звёзды, сунули их в урну.

Женщина с красными губами и девочка идут по городу с упрямой настойчивостью невидимок.

Однажды Софи услышала, как какая-то дама говорила её матери:

— У вашей девочки такие лучистые глаза. Только у французских детей бывают такие глаза.

Женщине с красными губами и её дочери удаётся выйти за пределы облавы. Несколько часов подряд они идут на север, в сторону пригорода. Что они едят? Где они спят? Они не могут спрятаться ни у кого из знакомых, они не могут выспаться у родственников — сегодня даже самые мелкие рыбы попали в сеть и сейчас их ждёт ужасная судьба на велодроме. Но женщина с девочкой всё идут и идут своими железными ногами. Вот они уже вышли за пределы Парижа. Они никогда не спят и ничего не едят. Быть может, они питаются одуванчиками и листьями с деревьев? Их глаза всегда открыты, они никогда не моргают. Наконец они выходят на какой-то вечерний перекрёсток. Дома в округе заперты. Вскоре город заканчивается и начинается полоса леса. Они пьют из ручья и к вечеру выходят к деревне. Они входят в первый попавшийся дом. Не задавая ни одного вопроса, крестьяне стелют им постель. На деревянном столе стоит кувшин с молоком. Девочка пьёт молоко и поднимает на крестьянку свои большие прозрачные глаза.

— Какая красивая девочка. Сколько тебе лет? Скоро от женихов отбоя тебе не будет, — говорит крестьянка.

На следующий день их приютил мельник. Конечно, они не говорят, что они евреи. И конечно же, женщина молчит о том, что её муж — участник Сопrotивления. Ещё она не говорит о том, что её муж исчез две недели назад.

Быть может, его схватили на улице. Арестовали. Она боялась наводить о нём справки. Он сказал, что делать этого не следует. Он сказал, что, если что-то пойдёт наперекосяк, им нужно будет оставить город. «Куда идти?» — «Двигайтесь из города в город, к итальянской границе». Он оставил им деньги. Но их следует расходовать очень аккуратно. В случае надобности можно продать серьги и обручальное кольцо.

Женщина просто говорит: «Мой муж алкоголик, и я от него сбежала». Она показывает синяк на запястье. На самом деле этот синяк она получила от жандарма, который схватил её за руку в тот момент, когда она собиралась прорваться сквозь оцепление. На секунду он взглянул ей в глаза. Потом взгляд его скользнул по её груди. У неё была красивая грудь. «Простите, мадам». Он отпустил. Они свернули в переулок. Такие знакомые улицы, и всё же за последние недели они так изменились. Ей приходится бежать, и девочка едва за ней успевает. Их разыскивают.

— Мадам Кушнер?

— Вы ошиблись. Меня зовут Анн-Лиз Фурье. Мы живём по адресу дом двенадцать на Рю Бальзак и спешим домой.

Напротив их имён в списке подлежащих депортации уже поставили вопросительные знаки.

Через несколько дней женщина с девочкой стучат в ворота монастыря, старые стены которого поросли плющом и фиолетовыми цветами клематиса. Монашка со свинцовым лицом открывает тяжёлую деревянную дверь, и они вступают на церковный двор. Им отводят холодную келью.

— Недавно здесь умерла сестра Изабель. Она была очень старой. Вероятно, у неё был рак. Но вы с девочкой вполне можете здесь переночевать.

Они спят вдвоём на узкой деревянной кровати сестры Изабель, умершей от рака. Стены кельи потрескались. В конце лета потолок затянут паутиной. В углу стоит металлический кувшин, в котором сидит лягушка. Они прикрываются колючим одеялом из грубой шерсти. Над головой висит большой чёрный крест. Крест похож на человека, стоящего на вышке для прыжков в плавательном бассейне, куда мадам Кушнер ходит каждое воскресенье.

Утром слышится возня во дворе и кудахтанье кур. Мать его матери остаётся работать в монастырском саду. Она больше не подводит губы красной помадой. Она ухаживает за курятником, занимается стиркой и глажкой белья и дежурит на кухне. Когда ей перепадает сигарета от сторожа соседнего склада, она курит за монастырскими воротами, однозначно отвечая на его пытливые расспросы, и старается не обращать внимание на его красноречивые взгляды. Каждый день, стоя на коленях на холодном полу церкви, женщина делает вид, что произносит молитву. Она шевелит губами, имитируя речь. А госпожа настоятельница

внимательно следит за ней и за девочкой, которая молится рядом.

Сейчас мы находимся в Сан-Франциско. Он переехал сюда из Нью-Йорка, когда совсем одурел от пьянства, потому что не мог остановиться. Ему разбили лицо, выбили все зубы, но пока что я об этом мало что знаю. Он гордится тем, насколько свирепым он становился в моменты запоев. Его выгнали из университета за то, что он дал кому-то в глаз, потому что хотел заработать репутацию Вийона. Эх, жил бы он в России, можно было бы прекрасно вписаться! У нас пьянство не считается пьянством. Пьяница — великий рассказчик и народный герой!

Он гордится своим тогдашним поведением. Это его мужская гордость, но здесь, в современной Америке, так не принято, это не приветствуется.

Энди говорил, что его мать постоянно рассказывала про Париж.

— Она была настоящая аристократка. Терпеть не могла Нью-Йорк, обожала Флобера и Пруста, читала Мериме и говорила с акцентом, совсем как ты!

— Но ведь я говорю по-английски с немецким акцентом.

— Это неважно.

После войны мадемуазель Кушнер удалось по какой-то программе уехать в Венесуэлу. Венесуэла — это где-то на севере Латинской Америки. Лазурное небо, бананы и диктатура. Далёкая тропическая страна. Там она разыскала дальних родственников, которым тоже удалось бежать из оккупированной Франции, но помочь ей они не смогли или, скорее, не захотели. Каждый спасает только свою шкуру.

Он говорит, что Софи Кушнер долго бедствовала, потом работала на текстильной фабрике. Какой уж тут Бальзак! Там вообще не было французских книг, и ей пришлось выучить испанский. Жара, глухомань, криминал... Из Венесуэлы она мечтала попасть в Соединённые Штаты.

История его матери будет многократно рассказана в его мемуарах. Её записи, которые он боялся открывать долгие годы, лежат в университетском архиве.

ЖИТАН

Вот уже двадцать лет ему приходится работать дворником, управдомом, но это обычный выбор писателя, который хочет спрятаться от разного рода ответственности и в конце концов выбирает нищенское, зато спокойное существование.

Сейчас его мать стоит тут, за дверью, и я отчётливо слышу её дыхание.

— Чтоб ты сдох, Энди! Зачем ты притащил в дом это восточноевропейское отродье, эту очередную шлюху?! У неё же прямо на лице написано, что она обведёт тебя вокруг пальца. И главное, ты от неё ничегошеньки не добьёшься. Ни-че-го! Ты просто неблагодарный маленький гадёныш!

Обычно мадемуазель Кушнер, она же миссис Шварц, сидит на крыше, на ступеньках перед чердачной дверью, и до нас изредка доносится дымок её сигареты. В цивилизованном мире больше никто не курит, так что ясно, что курить здесь может только она. Я нахожу бычки от её сигарет перед входом в дом. Такие сигареты уже никто не выпускает. Это довоенный «Житан». Мужские сигареты, но они запачканы красной помадой. Как эти сигареты попали в современную Америку?

Когда мы засыпаем, его мать часто стоит около нашей кровати. То есть около матраса, на котором мы спим. Она скрипит дверью и окнами. Она шумит в трубах. Около трёх, если он сам не разбудил меня своими озарениями или подозрениями, я просыпаюсь от стука её каблуков. Здесь, в эпоху хипстеров, больше никто не носит каблуки. А главное, каждую ночь миссис Шварц беспокойно ходит по крыше и что-то ищет. Он говорит, что раньше она вставала по ночам и начинала искать какие-то предметы: сумки, пудреницы, гребни. «Где моя сумка? Я не могу найти свои документы!»

— Слышишь, Энди, кто-то ходит там, наверху...

— Это стучит дождь.

Но дождя нет, хотя я в этом не уверена. Зато я совершенно уверена в том, что это она.

С тех пор как я приехала, я повсюду нахожу следы её присутствия, всё больше улик. Я нашла в чулане её чулки. Что я с ними сделала? Положила на подоконник.

— Зачем ты положила чулки на подоконник?

Я не хочу говорить ему, что я уже обо всём догадалась.

— Моя мама умерла. Моя красивая мама, — говорит он. — Это было десять лет назад в Майами. Я приехал на мамины похороны и увидел, как отец швыряет её вещи в помойку. Он был пьян. Если бы ты видела, с каким удовольствием он выбрасывал её вещи. А ведь можно было бы подарить их нищим, которых в Америке пруд пруди. Отец всегда внушал мне непреодолимое отвращение. Он не понимал, что она пережила в годы войны. После её похорон я несколько часов простоял над мусорным баком. На дне лежали её чулки. Я видел там, среди помоев, её любимое платье — чёрное в белый горошек! У меня есть её послевоенная фотография. Вот увидишь, на ней было именно это платье, такое же, как у тебя!

Это правда. У меня тоже есть чёрное платье в белый горошек. Оно

необычайно старомодное. Но я люблю этот послевоенный стиль. В Берлине полно секонд-хендов, в которых продаётся настоящий винтаж. Я люблю причудливо одеваться, но описать себя я не в силах. Никто не в силах меня описать. Я ускользаю даже от себя. Нет, я бы себе не доверяла.

Пожалуй, он прав, я выгляжу как персонаж фильма сороковых. Я подвожу губы красной помадой. Кровавой! Когда мы встретились, на мне как раз было это платье. Я купила его и надела прямо в магазине. Старое платье (точно такое же) я выбросила в первую же помойку и поехала в аэропорт. Я даже забыла снять ценник и ходила с этим ценником на спине целый день. Я летела тогда из Германии в Австрию, где мы и встретились, то есть в самолёте. Ценник я обнаружила лишь вечером в гостинице. Все видели. Мне было стыдно.

Он утверждает, что я похожа на его мать. Может быть, я её воплощение. Её фотографии лежат в альбоме на кухне в железном шкафчике с выдвигаемыми ящиками. Это сейф. Он всегда запирает его на ключ, а ключ хранит при себе. К фотографиям прилипли засохшие макароны. Вообще, в этом ящике лежит ещё куча важных предметов: отвёртки, ключи, металлические разъёмы. Но пока я не знаю, что скрывается в ящике под фотографиями и для чего он запирает его на ключ.

— Ты просто вылитая она, — говорит он, и его глаза его наполняются горькой нежностью. Как слепой, он трогает руками моё лицо. — Ну просто удивительно!

На самом деле я вообще не похожа на его мать, но мне не хочется его огорчать.

На снимке я вижу восемнадцатилетнюю девушку с широким лицом в форме сердечка. У неё кудрявые каштановые волосы и смеющиеся глаза. Она стоит за стойкой в отеле, в котором она работает. У неё за спиной деревянные ящики с многочисленными ключами и надпись «Софи Кушнер. Пансион Колибри. 1947».

Эта фотография сделана в Каракасе, куда занесло толпы беженцев из Европы. Из Каракаса все мечтают сбежать в Нью-Йорк.

А вот её фотография в зрелом возрасте. Вид у неё такой, словно она сейчас вытащит из-за пазухи взрывчатку. Грузная, сильно накрашенная, пошло одетая женщина. Здесь она сфотографирована в полный рост. Ноги опухли. По-видимому, она тяжело больна. И совершенно невозможно поверить, что она любила Флобера или Гюго. У неё одышка. Какая из них, из этих двух, ходит по крыше? Старая или молодая?

Пока я мою посуду — на кухне я нашла только одну пластиковую коричневую миску, а всё остальное мы купили на благотворительной барахолке Армии Спасения, — я думаю о своём сыне. Он живёт в Берлине, в Шарлоттенбурге,

в крохотной квартире. У него шизофрения, но он довольно хорошо справляется со своими обязанностями. Я помню, как я его рожала. Помню каждую секунду. Я не знаю, важно ли это, кого ты рожашь. Важен сам акт родов. На время женщина превращается в яичную скорлупу, в живой мешок. Она превращается в землю, у которой есть ноги. То, что растёт внутри, на самом деле не имеет к тебе ни малейшего отношения. Оно зародилось само и не по своей воле. Беременная женщина уже не женщина, а трансцендентный цветочный горшок и труба для чужих мутаций, которые, как оказалось, всё время пытаются её убить — это последние сведения науки о том, что зародыш конкурирует с матерью, стремясь её съесть. Женщина становится ареной для родов.

Когда мой сын сидел у меня в животе, я всё время слышала этот звук: хруст и причмокивание. Он грыз меня изнутри. Он высасывал мою кровь, истончал мои волосы и кости. Мне было страшно. Тогда у меня и началась паранойя.

Это было зимой. В январе. Таких морозов уже давно не бывало, и батареи жарили как в аду. Светила ясная луна. Звёзды прокалывали черноту. За несколько дней до родов я открыла «И-Цзин» и мне выпала гексаграмма про лису. Мне показалось тогда, что лиса запутывает следы между звёздами. Он родился двенадцатого января! А ведь у Э. тоже день рождения двенадцатого января. Какое невероятное совпадение!

Итак, женщина — это кровавая арена для родов. Она же зритель. У тебя под ключицами образуется гигантская трещина, то есть расщелина, откуда стремительно вырывается орущий младенец. Гаргантюа. Я помню венец боли, этот огненный венец...

— Ты завидуешь?

У нас довольно сложная констелляция: он сын своей покойной матери, которая от заката до рассвета ходит по крыше и пытается что-то или кого-то найти. Я тоже его мать, но у меня есть сын, и у моего сына ментальное отклонение.

Из-за высокой влажности небо в Сан-Франциско совершенно беззвёздное. Иначе мадемуазель Кушнер, она же миссис Шварц, могла бы срывать с него звёзды, пришитые на живую нитку, и швырять их в корзину для мусора. Иногда она зовёт его, и, как это бывает со всеми приглушёнными звуками, которые доносятся из-за стены, они превращаются в общий гул. И всё же сквозь все эти звуки я отчётливо слышу её голос.

— Энди, подлый гадёныш, ты не любишь меня. Ты любишь меня недостаточно. Я никогда не доверяла тебе и знала почему. Здесь холодно. Я ослепла из-за тумана.

Голос её постоянно смешивается с морем других звуков. Но потом я опять

слышу стук её каблучков.

Он живёт с матерью внутри, как Норман Бейтс из Хичкока. Несмотря на то что я всё больше и больше люблю его и любовь эта растёт, как снежная лавина, я нисколько не удивлюсь, если однажды найду у него в чулане напичканное газетами чучело его матери. Это будут старые газеты, быть может, французские газеты времён оккупации.

Впрочем, для того, чтобы грамотно препарировать тело, надо соблюдать кучу правил. Необходимо иметь достаточные запасы сухого льда, уксуса и соли. Нужно купить известь и приготовить мездру. Но именно этих умений ему не хватает. А что, если я найду мумию его матери? К этому я готова. Я ни за что не подам виду, что в этом есть хоть какая-нибудь девиация. И всё же я немного побаиваюсь его. У него дикий взгляд. В нём определённно есть что-то патологическое, но что именно, я ещё не понимаю. Кроме того, у него на черепе следы нескольких переломов, и это придаёт ему особый шик. Чем больше асимметрии, тем интересней. Я знаю, что нос у него был разбит во время учёбы в Нью-Йорке. А может быть, раньше, в самом конце школы... Мне известно, что потом он учился в Колумбийском университете, пока его не выгнали из-за драки. Но как он попал из Бронкса в престижный Колумбийский университет? Ведь они были так бедны, а элементарное образование в Америке, в отличие от остальных стран мира, — это привилегия людей с деньгами, ведь таким образом они охраняют себя от бедняков.

Чулки с подоконника исчезли. Если бы окна открывались, можно было бы предположить, что их сдуло ветром. Но окна едва открываются. Это окна «сашет» — американское изобретение. По европейским меркам это просто щели в кирпиче, дырки для воздуха в коробке, где сидит пойманный таракан. Стёкла можно поднять, но и тогда они пропускают не слишком много свежего воздуха. Так что чулки не могли унести чайки. Исключено.

Я выхожу на крышу по пожарной лестнице и нахожу чулки — они зацепились за провода. На противоположном конце крыши сидит жирная чайка с носом, хищно загнутым вниз.

Здесь их множество. Здесь есть ещё и пеликаны. Вообще, в Америке огромное разнообразие птиц, их гораздо больше, чем в Европе. В первый раз, когда я попала в Сан-Франциско, я подумала, что увидела птеродактилей, но это были пеликаны. Они бросались с воздуха, как торпеды, дырявя воду залива. Ископаемая птица додо. Маленькие колибри, как одноразовые шприцы, зависали над лабораторными поилками. Мне рассказали, что здесь водятся морские котики. Всё это совсем не сочетается с той Америкой, о которой я знаю, а знаю я её в основном из голливудских фильмов. Моя задача — познать Америку, страну, в которой не верят в смерть, главное — понять

неведомый мне мир.

Декабрь. Я думала, что в Сан-Франциско будет гораздо теплее, но здесь упрямо держится температура около шестнадцати градусов. Кроме того, здесь гораздо спокойней, чем в Берлине или в Москве. Здесь вообще ничего не происходит. Вообще-то этот город находится как будто вдали от реального мира. Где-то за пределами Сан-Франциско, как в интернате для благородных девиц, сидят инженеры и сочиняют новый мир. Это настоящая башня из слоновой кости, и они не знают ни о чём, что происходит снаружи. Зато в Европе все только и говорят, что о Башаре Асаде и об «Исламском государстве»¹. У всех перед глазами стоят ужасные картины: убийцы, отсекающие головы пленникам в оранжевых комбинезонах. В Германии все шарахаются от темноволосых людей, подозревая в каждом террориста или серийного убийцу. Из-за этого правые поднимают голову и снова слышатся голоса о расовом превосходстве. Но теперь я здесь, в этой волшебной стране, где никто ничего не боится, а моего жениха можно было бы запросто принять за жителя Магриба.

Когда я прилетела, я очень волновалась, ведь я совсем не знала, куда я попаду. И я чуть не сошла с ума, когда меня никто не встретил в аэропорту. Я тут же стала быстро соображать, куда пойти. Да, у меня есть родственники, которые уже давно здесь живут, но у них свои проблемы. Да и вообще, я не видела своего дядю лет двадцать. И конечно же, он не знает, что я здесь. Но как он, мой жених, теперь уже жених, попросил меня прилететь в Сан-Франциско и исчез? Как он мог? Может быть, он испугался?

Когда я прилетела, длинный холл аэропорта был пуст. Это был серый бетонный марш с низким потолком. А потом я отчётливо помню, как увидела его, моего Энди, идущего мне навстречу по длинному пустому пространству. Пустому, потому что к тому времени все пассажиры и встречающие уже разошлись. А я всё стояла и не понимала, что мне делать.

Это было, как в кино. Он шёл медленно, будто по дну океана. Он был огромного роста и показался мне гораздо выше, чем я думала раньше, эдакий агрегат, машина. На нём было всё чёрное, издалика напоминающее театральный сюртук в стиле стим-панк. Чёрные всклокоченные волосы. Огромные, тёмные, испуганные до смерти глаза. Он был моим отражением. И мне хотелось заорать и заплакать, но я стараюсь сдерживаться. Я вообще ненавижу бурные выражения чувств. Мне сложно справиться и с чувствами других, и я всегда убегаю и прячусь, чтобы побыть одной. У меня может съехать крыша, а это

¹ «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная на территории РФ террористическая организация

чревато большими неприятностями.

ПОГАНЫЙ РАЙОН

Мы почти не выходим из дому. Он спускается в киоск напротив и покупает там виноград и орешки. Это крохотные пакетики по шесть или по восемь долларов. Здесь всё очень дорого, но он не понимает, о чём я говорю. Он американец, а мы, европейцы, по сравнению с американцами, такие же бедные, как жители Индии по сравнению с нами. Иногда ему приходит в голову, что нужно купить орешки в три часа ночи. Тогда он будит меня и, наскоро одеваясь, спрашивает, не пойду ли я с ним за компанию. Я, разумеется, иду. По-видимому, здесь вообще нет супермаркетов, готовить никто не умеет и люди или питаются в ресторанах, или покупают сладости вот в таких крохотных магазинчиках. От этих орешков толстеют, от них мутит, и они забиваются между зубами.

В последнее время мой взгляд словно прикован к его рту. Что бы он ни говорил, я стараюсь заглянуть ему в нёбо и отчётливо вижу пластиковый протез. Но почему он никогда не снимает эту штуку?

Сан-Франциско от меня ускользает. Что отличает этот город от множества других американских городов? Здесь пустые длинные улицы, которые пересекаются бесконечной решёткой. В путеводителе написано, что этот город — уснувший вулкан. Но мне об этом ничего не известно. Есть ли здесь музеи, концертные залы? Наверное, здесь есть набережная, ботанический сад. Где-то неподалёку находятся и Беркли, и Стэнфорд. Там преподают мои знакомые. Если бы я позвонила им или написала, то, вполне возможно, я бы смогла получить работу переводчика или прочитала бы несколько лекций.

В ванной комнате я нашла женский гребень. Это пластиковая расчёска, но я предпочитаю называть её гребнем. Если не думать о том, что эта штука сделана из пластмассы, можно принять этот материал за янтарь или за черепаховый панцирь. Быть может, как раз именно этот гребень ищет его мать, когда она ходит по крыше?

Между прочим, у него очень странная ванная комната. На стене у зеркала, в котором отражалось бог весть сколько незнакомых мне глаз, висят искусственные цветы. Из-за вечного тумана довольно трудно разглядеть маленький люк, ведущий наверх. Я становлюсь на табуретку и закидываю гребень на крышу. Это для его матери. Табуретка трещит, и я лечу вниз. Но я ещё хорошо отделалась, потому что у меня только оцарапана рука, а на голове всего лишь небольшая шишка.

Стены здесь чёрные. Облупившаяся ванная покрашена ярко-красной масляной краской, круговыми мазками, как у Ван Гога. Это настоящее царство живописи! На зеркале стоят пластиковые солдатики. Иногда Энди кажется мне гигантским ребёнком, и в груди у меня открывается какая-то раковина. Это моё сердце. Оно больное и хищное. Оно хочет проглотить его, а заодно и меня.

Я в изумлении смотрю на его лицо и не нахожу в нём ни единой ошибки или неточности. Он чем-то необычайно встревожен. Боясь нарушить тишину, мы робко топчемся в прихожей. Он закатал рукава, и я вижу татуировки. Руки у него крепкие, как у сивиллы Кумской на Сикстинской капелле. Глядя на них, я робею и задыхаюсь.

Вчера я нашла прямо под дверью трамвайный билетик. На нём было написано «ТЗ-а» и что-то ещё. Разумеется, по-французски. И год — 1942. Я абсолютно убеждена, что этот билетик выпал из сумочки его мамы и случайно залетел с крыши в наше окно.

На кухне стоит алюминиевый чайник со свистком, точно такой же, как был у моих родителей в семидесятые. Холодильник — огромного размера, какой-то бронированный, старомодный и совершенно пустой.

— Может быть, раздобыть чего-нибудь съестного? — спохватившись, говорит Энди.

Он смотрит на меня обезумевшими глазами. Волосы, давно не стриженные, лежат неровными кольцами. Руки его дрожат, и мы оба стараемся не дышать. До этого я лишь однажды видела мужчину, который так робел, что с ног до головы покрывался потом и чуть не упал в обморок, когда я столкнулась с ним нос к носу в университетской столовой.

На мне всё ещё то же чёрное платье в белый горох. Я поставила в угол чемодан и села на единственный стул с красной бархатной обивкой. Потом это оказалось писательским креслом.

У Энди блуждающий взгляд. Не соображая, с чего начать, он берёт гитару, садится на какой-то ящик и начинает что-то петь. По-видимому, песню в честь моего приезда. Голос у него высокий и сиплый, зато всё это сполна компенсируется слухом.

— Может, чаю?

— Ты не хочешь меня слушать?

Прошёл уже почти месяц. Поскольку мы нигде не бывали с момента моего приезда в Сан-Франциско и я не говорила ни с одним человеком, я всё чаще возвращаюсь к прошлому.

АВСТРИЯ

Тогда у меня был Франк — так звали моего бойфренда. Он был спортсменом, занимался сёрфингом. Маленький и стройный, как Гермес, он был лёгким, ускользающим, бегущим по водяным лезвиям, с пеной белых кудрей, похожим на молодого Кински и совершенно молчаливым. Вот я и навесила на него кличку Белокурая Бестия. Он улыбался.

В летнее время года, когда Франк жил на самой окраине Берлина, среди зелени и пенсионеров, мы почти не виделись. У него в Мариенфельде стояли совершенно унылые бетонные стаканы — массовая застройка, коллективная жизнь. За супермаркетом начинался лес, а за лесом — великая пустота. Эта метафизическая пустота, доходившая до самого Южного полюса, покрывала молчанием всё, что было вытеснено из сознания горожан, — тёмное военное прошлое. Поэтому все болтали о ерунде. Зато в крохотной квартирке Франка висели совершенно выцветшие репродукции Энгра и Тициана — синяя Лавиния с голубыми ляжками, Дама с горностаем — ну просто вылитая панночка из «Вия»! Синие, потому что пигмент кобальта оказался самым светоустойчивым. По-видимому, все эти глупости с пигментом Франка не волновали. Ещё у него была высохшая роза, тридцать лет назад подаренная поклонницей. Подумать только — тридцатилетняя роза! И море пыли. Главное — ничего и никогда не менять!

Вот уже много лет в одно и то же время, а именно в семь часов вечера, Франк обедал у родителей — скучный континентальный набор: кислая капуста, стейк и/или гороховый суп. Мать его была кассиром в галантерее, отец — строителем. И, как большинство пьянчуг, папаша его обладал мрачным обаянием и чувством юмора, похожим на удовольствие от глухой боли. Теперь, засахаренный инсультом, он улыбался из глубины своего инвалидного кресла, коверкая имена Лакана и Ортеги-и-Гассета — кумиров своего сына, к занятиям которого он относился с подозрительным уважением. «Это он у нас большой умник, а мы — люди маленькие». Унаследовав от дяди крупную сумму, Франк вложил все свои деньги в акции. На дивиденды он может оплачивать свою конуру, плавать по океанам и покупать книги. Все они, тщательно прокомментированные карандашом на полях и густо переложенные закладками, стоят в идеальном порядке.

Зимой мы с Франком собирались в Индонезию, куда-то, где были высокие волны, и вот уже несколько месяцев мы только об этом и говорили.

А потом я отправилась в Австрию на фестиваль...

Я хорошо помню, когда через пустой самолёт прошла чёрная тень и села

напротив. Краем глаза я отметила тогда двухметровый рост, ноги, не помещавшиеся в обычном кресле и потому выставленные в проходе. Я постоянно чувствовала на себе его взгляд. Впрочем, я бы так и забыла о существовании этого персонажа в духе раннего Челентано, если бы рядом с иллюминатором тогда не пролетел очередной падший ангел — свалявшаяся шерсть, блохи в подкрылках, чесотка и сиплый лай.

В просторном кафе отеля было людно. На террасе блестел фонтан. Звон столовых приборов глушил голоса.

- Для настоящего ада это довольно неплохо.
- Почему для ада?
- Разве этот городок не называется Хелл?
- Вы уже видели Эдну?
- Кто такая эта Эдна?

Я автоматически продолжала искать глазами женщину, чтобы имя обрело человека.

- Не Эдна, а Энди!

Там была Лиза — директор — и какие-то студенты. Спорили о контркультуре и гражданских правах. Говорили про пандемию, спутники на продажу, криптовалюты и теории заговора. Кто-то витийствовал про Ассанжа...

Меня представили двум литераторам: писательнице из Албании, писателю из Ирана... Здесь было и несколько знаменитостей — лауреат Нобелевки десятилетней давности... Вскоре толпа понемногу рассосалась. И я уже собиралась было уходить, когда на другом конце кафе я вновь увидела того самого пассажира. И теперь стало ясно — это же сумасшедший дед, классический старпёр! Он сидел в углу, пялился прямо на меня и явно не вписывался в команду приглашённых. У него было крепкое восьмиугольное лицо вратаря, боксёра, футболиста или рок-музыканта, сломанный нос, который под разными углами выдавал новый профиль, и диковатые глаза. Он сидел, высоко закатав рукава, выставляя на обозрение свои роскошные бицепсы, на которых синели размытые татуировки. Мимо промчалась Лиза и выдернула его из кресла.

- Знакомься, Энди Шварц, поэт из Америки.
- Откуда? Америка большая.
- Самая большая в мире.
- Ха-ха-ха!
- Я из Калифорнии.
- Из Голливуда?

Теперь мне всё казалось уморительно весёлым. Официанты, как чёртики, носились с букетами салфеток, кофе пах бразильскими жаровнями. Мы увлечённо беседовали о презумпции невозможного, а он смотрел на меня изумлённым взглядом.

Теперь у меня была возможность хорошенько его рассмотреть. Он был совершенно неуловим. В его лице и во всей фигуре было что-то театральное, почти комическое и даже отталкивающее. И одновременно всё это действовало как магнит, как какая-то головокружительная дыра, в которую летишь, не думая о последствиях. Голос у него был даже слишком тихий и доверительный для такого театрального злодея. Говорил он просто и спокойно.

Через час он сказал мне, что я похожа на его мать.

Через два часа я уже любила его до смерти.

Через три часа я перестала ему доверять.

Терзала ли меня совесть? А Франк?

На всякий случай я сразу же сказала Челентано, что у меня есть молодой человек и что в своей жизни я ничего не собираюсь менять.

— И вообще, предупреждаю, не надо меня соблазнять. Это бесполезно. У нас вряд ли выйдет что-то путное.

Сейчас меня душил внутренний хохот. А он, наоборот, как будто загорелся изнутри и тут же погас чернее чёрного. Потом мы молчали, и я наблюдала, как он поглощает фотоны. И, опрокинув кофе себе на штаны, он неожиданно сказал:

— Кажется, я перелетел через океан только для того, чтобы понять, что я полный болван!

Потом я слушала его монолог. Он говорил яростно и самозабвенно. Я оказалась той самой девочкой, что являлась к нему в самых потайных снах... Мы как будто живём в Берлине, в Париже. Нет, мы живём в Варшаве! Мы родственники!

Вечером он не спустился на общий ужин.

ШИЗО

Мой сын уже давно болеет. Это началось у него в самом конце школы. Он сделался нервным, беспокоился о будущем, плохо спал и, вставая засветло, садился на первый трамвай, возникавший из утренней тьмы. «Это чтобы не опоздать», — объяснял он. За час до занятий он шёл к огромному кирпичному зданию школы, которое находилось около Олимпийского стадиона, и входил во двор, напоминавший тюремный. Здесь он ждал, пока не появлялся

сторож, который гремел ключами и отпирал стеклянную дверь вестибюля.

Два последних класса он боялся всего, боялся незнакомцев, обложился книгами по истории Второй мировой войны и проваливал учёбу. Тогда ему стали грозить исключением и призвали государственных психологов.

Я ещё помнила его начальные классы, когда впервые нас вызвали на разговор к социальным работникам и мы сидели перед ними, как воры на скамье подсудимых, эмигранты, не догадывающиеся о том, что в европейских школах нельзя шутить. Это были суровые чиновницы, непоколебимые и неподкупные.

В конце года меня вызвали в школу и классная руководительница решила передо мной исповедаться. Это была хорошая тётка, снисходительная, сердобольная, со своим комплексом страданий.

— У моего сына шизофрения, — сдавленным голосом сказала она.

Что такое шизофрения, я представляла себе мало. Кое-что я читала в книгах по психологии. Но что именно происходит в голове потерпевшего?

— Почему вы решили рассказать мне об этом? Мне, маме вашего ученика?

— Я боюсь за вашего мальчика.

— В чём выражается шизофрения?

В последующие недели моя память оживляла всех психов, которых я когда-либо встречала. Они неадекватно реагировали на обстоятельства, у них было тяжёлое детство, они были слишком чувствительными. Иногда люди с подобным диагнозом срываются с катушек и мочат всех вокруг. Но шизофрения и психопатия — разные вещи. В этом нужно было ещё разобраться. Это интересно. Теоретически, конечно. Через год я уехала преподавать в небольшой немецкий городок, где мне досталась квартира моего приятеля, который поначалу был немецким композитором, потом православным батюшкой и, неожиданно бросив службу, поехал воевать в Донбасс и погиб.

Квартира располагалась на чердаке. Площадка перед дверью была завалена старым хламом. В соседней конуре жили африканские беженцы. Ежедневно они играли в какую-то азартную игру. Может быть, на деньги. Они громко стучали и кричали. Стучали костяшками, а может, и костями... Во всяком случае, не пили и не дебоширили, вызывая у меня этим самым неизбежную симпатию. В самой конуре, как божественное откровение, меня ожидал загаженный холодильник, содержимое которого в недавнем прошлом вытекло на ковёр. И вот передо мной цвёл психоделический лес плесени, и я думала об установке одного мюнхенского художника, который выстраивал пейзажи из своих пожитков... Несколько недель подряд я по кускам вырывала этот ковёр. От псилоцибиновых или ещё чёрт знает каких паров у меня начались ночные кошмары, в которых, однако, я находила особенное удовольствие.

День за днём я открывала по углам этого жилища следы сатанинских ритуалов. Между стеной и кроватью обнаружили высушенные птичьи головы, под матрасом лежали школьные тетради с нарисованными виселицами, за ковром — фотографии женщин с выскобленными глазами.

Зачарованная странностью этого помещения, я с каждым днём всё глубже погружалась в мир предыдущего жильца. Конечно, я бы могла снять себе нормальную квартиру, но здесь было интересней. Здесь было приключение. И вообще, я вот уже в который раз подвергала себя всяким немыслимым рискам, потому что «интересней». И кстати, ни разу об этом не пожалела...

Вскоре я забросила преподавание и вместо возни со студентами всецело предалась поискам новых улик безумия, пока не наткнулась на бинокль, застрявший за батареей. Бинокль был хороший, цейсовский. Теперь я смотрела на мир глазами мёртвого священнослужителя, воина, героя. И вероятно, студенты и профессора — мои коллеги — догадывались о моём медленно подступающем безумии.

Цейсовский бинокль я привезла сыну в Берлин. За время моего отсутствия он похудел. У него высохла кожа и почернели губы. Приехала моя мама. Обычно она живёт в ожидании разъярённых львов, а тут сделалась осторожной и тихой. Теперь, простаивая целыми днями за плотно задёрнутой занавеской, мой сын неотрывно смотрел в бинокль. Это были первые признаки паранойи.

— Меня отправят в засекреченный концлагерь на польских территориях и будут брать кровь для раненых, — бормотал он. — За мной явятся салафиты и заберут меня куда-то очень далеко, затолкают в самолёт, увезут в пустыню, замуруют в пещере.

Когда я спрашивала его, почему он так думает, он всегда отмахивался. Выживая из книг и новостей самое неприятное, он безапелляционно прилаживал это к собственной жизни:

— Террористы в Тулузе, джихадисты в Брюсселе, в Париже, в Гамбурге! Иран, ракеты из Газы! «Хизбалла»! Они уже здесь. Европа погибла! Вот увидишь, пройдёт ещё несколько лет — и здесь будет шариат. По Берлину будут ходить женщины в паранджах, у каждой будет сучий выводок детей, в школах главной дисциплиной станет ислам, и не просто умеренный традиционный ислам, который тебе, мама, так нравится. Ведь ты же любишь всю эту восточную паточку, персидские ковры, зурну и прочее. Нет, вот увидишь, здесь будет шариат! Немецкая нация вымрет естественным путём. Они больше не рожают детей! А те, кто не вымрет, станут естественными фашистами!

Я старалась не вступать с ним ни в какие споры. Было ясно, что он несёт несусветный бред. В две тысячи тринадцатом году он верил своему воображению больше, чем фактам. Губы его дрожали, глаза стекленели. Ему

снилось, что началась мировая чума, что, кроме того, Берлин, Париж и Лондон на десять лет отошли в пользование Саудовской Аравии из-за невозможности покрыть государственные долги и что по Берлину ходят женщины в хиджабах. Разумеется, он хотел организовать вылет, но это оказалось невозможным, поскольку все аэропорты были закрыты. В новостях передавали, что иссякли запасы авиационного керосина, а европейские государства закрыли ворота для беженцев. Исландия оказалась единственной страной, куда можно было бы полететь, но проблема заключалась в том, что из-за извержения какого-то страшного вулкана небо было покрыто метановыми облаками, смешанными с вулканической пылью.

— Эйяфьядлайёкюдль относится к щитовым вулканам. Извержение происходит не из отдельного кратера, а через длинные разломы в рифтовой зоне. Вулканы Лаки и Гримсватн выбросили в атмосферу ядовитые соединения фтора и диоксид серы. Уже начались кислотные дожди. Из диоксида серы образовалась плавиковая, фтороводородная, кислота. Ты знаешь, что она разъедает даже стекло! Эта кислота течёт в города. Скоро в Европе будут уничтожены огромные поголовья скота, пастбища и треть населения.

Всё это, как мантру, произносил мой шестнадцатилетний сын, рассуждая о том, что скоро наступит конец света. Он прыгал под машины, бросался на открытые провода, стал ясновидящим, предсказывая эпидемии, вызванные бактериологическим оружием, террористические атаки и динамику акций. Его состояние ухудшалось. А когда ему поставили диагноз, я топталась у витрины аукционного дома, где были выставлены кремневые дуэльные пистолеты, и подумывала о том, что это единственный верный способ уничтожить нас обоих. Потом я смирилась. Сейчас он жил один и я помогала ему чем могла, установив внутреннюю дистанцию.

ВОЛШЕБНАЯ ГОРА

Над сказочным городком поднимается солнце, окрашивая Альпы нежно-розовым светом. Я всё ещё думаю о том, что название слова Халл очень созвучно с английским словом hell — ад, и это никак не выходит у меня из головы. Мы живём в чудесном трёхзвёздочном отеле. Пора спускаться на завтрак. Там уже ожидают новые гости. Всякий раз, когда я хотя бы на несколько дней попадаю в горный отель, я думаю про роман «Волшебная гора». Мы — пациенты. Где-то в нижних этажах хранят трупы. Итак, всё сходится, тем более что мы действительно находимся в Альпах.

Всё следующее утро писатель Энди Шварц ходил за мной, как утка с глазами гиены. Во время обеда его лицо, вытесняя все остальные, плыло над копчёной свининой с квашеной капустой и кноделями, и в особенности — над кровавой колбасой, а после моего доклада Энди предложил мне прогуляться по центру.

Город был средневековым, многократно перечёркнутым фахверками. В сувенирных лавках продавали резных деревянных сов и значки с эдельвейсами. Уютно шипело пиво, мелькали войлочные шапки с кисточками и фазаными перьями. Солнце, юное и проворное, дразнило своим задором, а мы ели мороженое и оживлённо болтали о смерти. Мой английский — так себе, то есть еле помещался во рту, но я старалась. Особенно я перебарщивала с «ТН». И, пляясь на своего спутника, как на диковину в зоопарке, я думала: что у них внутри, у этих стариков, и занимаются ли они сексом?

А потом мы зашли в кафе, густо увешанное оленьими рогами и уставленное устрашающими «вольпертингами» — такими чучелами неведомых зверей, и опять говорили и говорили.

— Лиза устроила мне тур по Австрии с новой книгой.

— О чём твоя книга?

— О жизни в Нью-Йорке, точнее, в Бронксе, о семидесятых, о восьмидесятых, о хаосе. Это книга о моей матери.

— Роман?

— Автобиография. Через неделю я приеду в Берлин. Там мне нужно будет найти Анонимных Алкоголиков.

Оказалось, что он и есть алкоголик, и самый что ни на есть анонимный. И неожиданно он спросил, знаю ли я Елену.

— Какую Елену?

— Елена — кажется, так зовут всех русских. Елена живёт в Сан-Франциско. Её отец был большим коммунистическим боссом. У неё фиолетовые волосы. Она очень красивая, как все русские женщины, но алкоголичка и хроническая лгунья. Больше про Елену он не сказал ни единого слова, и я немедленно забыла об этом разговоре.

На шумной площади между киосками со сладостями и деревянными лошадками его мысли были заняты политикой.

— Фашизм возрождается. Теперь он принимает самые причудливые формы. Запад финансирует исламизм. ИГИЛ сидит на наркотиках. Террористы в Тулузе, джихадисты в Брюсселе, салафиты в Париже! Левые не отличаются от правых... Путин напал на Украину... Арабская весна — это ещё цветочки... Братья-мусульмане просто малые дети по сравнению с новыми героями джихада... Война в Сирии только началась, и, если в это вмешается ваш Путин, это ещё аукнется

тут у вас, в Европе...

Вокруг синели горы. Ледниковые потоки катили по ним каменный сахар. Картонные домики с покатыми крышами были расписаны альпийскими розами. Пока я «отвлекалась» на всю эту красоту, он взял меня за руку. Эй, мы так не договаривались! Как это произошло? И после этого состояние экстаза уже не прекращалось.

Когда я села в машину, чтобы ехать в аэропорт — я уехала на день раньше него, — он успел написать мне на клочке бумаги: «Мне кажется, я уже давно твой любовник. Нет, я твой муж. Мы живём в Париже, в Вене или в Сан-Франциско, и у нас куча детей».

Потом я приземлилась в Берлине. Но думала ли я о нём? Не помню. Помню только, что первым делом я поставила на фейсбук новый юзерпик — фотографию лемура; своего лица я стеснялась.

Через двадцать четыре часа писатель из Сан-Франциско Энди Шварц уехал в Вену, где у него было выступление по случаю выхода книги. Я заглянула в интернет. Такого издательства не было. Должно быть, оно было совсем новым. В тот же вечер он вошёл в пустой номер отеля на Кайзерштрассе, умылся слезами и спустился в бар. Издатель, пожилой одутловатый человек, в прошлом страховой агент, иногда что-то пописывавший и решивший побаловаться издательским делом, привёл двух проституток. Он считал, что, если американец приехал из Сан-Франциско, из этого эпицентра разврата, ему непременно нужны проститутки. Проститутка, которая досталась Энди, была из Румынии. Ей было лет тридцать, и она была очень красивой, но её портили озабоченные глаза. Мать-одиночка. Она пыталась рассказать ему о своей тяжёлой жизни, о сыне, но ей не хватало языка...

БЕРЛИН

Берлин в то лето замер в своей густой зелени — тихая и ленивая столица. И было трудно поверить в то, что когда-то город этот был разделён великой стеной, хотя до сих пор западные берлинцы не ездят в восточный город и наоборот. У меня в Шёнеберге отовсюду доносилась музыка, трещали птички, а Энди всё никак не шёл у меня из головы, и я читала книгу его стихов, подаренную мне в «аду».

Читать по-английски было непросто, но то, что я улавливала, наводило меня на мысли, что поэтическое мышление всегда пьяное, как расстроенное

пианино. Оно и душу расстраивает, может до психиатрии довести со всеми своими ДАДА-гаммами. Таким, как мы, требуется проза, военный строй. Вместо автоматического письма, которое мчалось, как поезд без рельсов, нужно было подчинить себя строжайшей дисциплине. Но не тут-то было. Чтение было прервано сообщением: «Где ты, волшебный лемур? Лемур, что ты сейчас делаешь?»

Теперь телефон рассыпался от звонков, то и дело вспыхивал экран, и я чувствовала себя жителем какой-то другой планеты, случайно заблудившимся в межзвёздном лесу. Сатанисты в Брюсселе, джихадисты в Париже! При чём тут я? Какое они имеют ко мне отношение? Путин плохой? Диктатор? Убийца? За Путина я не отвечаю. Что там происходит в Крыму?

«Ты одна? Я начинаю сходить с ума!»

Если я не слышала звонка, он обижался, подробно выпрашивал, почему я не сняла трубку, где я была и чем занималась. Иногда его обиды переходили в угрозы. И задолго до того, как между нами произошёл дьявольский сговор, он сказал:

— Тебя послал сам сатана, и ты доведёшь меня до гибели. Я знаю это наверняка. Ты когда-нибудь читала «Майн кампф»?

Осенью Берлин осыпается великолепными твёрдыми каштанами. Если воткнуть такой в кадку на балконе, весной появляется маленький росток. Обычно я ходила за ними в крохотный парк, посвящённый Клейсту. Там день и ночь светило солнце и всегда была нарядная осень.

«Приезжай, мы пойдём собирать каштаны», — написала я ему в Вену, а через неделю он позвонил мне из соседнего кафе.

— У меня завтра презентация книги в клубе Румбалоте. Я буду читать по-английски. Приехал мой переводчик с женой. Лиза тоже здесь. Они собираются организовать еще один фестиваль.

— Где ты остановился?

— Они сняли какую-то квартиру в Восточном Берлине. Там живёт сейчас человек семь. Спят вповалку. Вместо гостиницы Лиза предоставила мне кровать в проходной кухне. Они шагают через меня день и ночь. Уж не знаю, как я там продержусь.

— У меня пустует комната. Бывшая детская.

Каштаны мы собирать не стали. Плевать ему было на каштаны. Его трясло, как червя в кипятке, и он торопил меня забрать его вещи. Тогда у меня ещё был старенький фольксваген. Развалюха. Из Восточного Берлина мы привезли два ящика с его книгами. Они ещё пахли типографской краской...

Вечером, пока у него были чтения в Румбалоте, я навещала сына. Потом я подхватила Энди на машине, накормила ужином и отвела в бывшую детскую.

— Ну вот. Я тебе постелила. Спокойной ночи.

Мне всю ночь не спалось, а он то и дело вскакивал, скрипел паркетом, гремел скелетом, и что-то тяжёлое больно бродило у меня в груди, ища и не находя выхода, что-то наподобие строительной груши, которую используют, чтобы избавиться от руин.

Утром я отвезла его на Музейный остров, и мы, тронутые счастьем, ходили по каменной галерее, напоминающей театральные подмости. Шпрее заключена там в строгий бетонный воротник, путь к воде преграждают решётки. Сад казался мне тогда небывалым приключением, как сумеречная живопись Бёклина, и Энди был таким козлоногим чудовищем, чудом-юдом с полотен Франца фон Штюка. Пока мы стояли на каменном мостике, мимо проплывало огромное здание Теологического факультета, в фонтанах пели лягушки, а в Шпрее плескались русалки. Но было ещё что-то важное, что-то самое важное и необыкновенно дорогое.

— Я чувствую твои руки, я чувствую тебя. Ты моя мама. Мы созданы друг для друга. Здесь, в Берлине, ты живёшь без любви! Твоя жизнь настоящий ад, и это не поддаётся сомнению! Поехали со мной в Сан-Франциско, и ты никогда об этом не пожалеешь, вот увидишь!

— Я собираюсь в Индонезию с Франком. — В этот момент я уже и сама себе не верила.

— Но ты не любишь этого типа. Это же ясно. Это какой-то скучный академический хрен. Жвачка. И зачем тебе Индонезия? Колониальная экзотика. Чего ты там не видела? Там нищета. Ты приедешь ко мне, и мы будем жить вместе, будем ходить по городу, держась за руки. Я буду смотреть в твои глаза. Что бы ни произошло с нами в этой жизни, я не разлюблю тебя ни при каких обстоятельствах.

Честно говоря, я не знала, что с этим делать. А потом он спросил, как мы будем жить, когда он уедет, и я рассказала ему про скайп.

— Скайп? Наши персональные данные проданы. Ты знаешь, что они сделают со Сноуденом, когда он попадётся им в руки? Через скайп за нами будут наблюдать.

— Кто?

— Ты не представляешь, я же известный анти... Я в списках... За мою голову назначили... — и он запнулся.

— Заклей камеру скотчем! Заклей голову скотчем!

Скайп был установлен. Что такое VPN, сетевая криптография, инфраструктура открытых ключей, он и нюхом не ведал. Я не знаю, кто за

ним охотился. Может, наряд из психиатрии? Люди Блаватской? Странники великого иерусалимского Муфтия? Члены общества Туле? Он исповедовал нью-эйдж, медитировал, считал, что «духовная практика» — это залог счастья, слияние с небесами и зонтик Бога.

На следующий день, пока я спала, свернувшись калачиком у себя в комнате, он уехал в аэропорт. Под утро во сне ко мне явился незнакомец-орангутанг из рассказа Эдгара По «Убийство на улице Морг» и принялся тыкать мне в нос свой паспорт: «Мы женаты. Ты просто забыла. Ты принадлежишь мне, и я могу сожрать тебя с потрохами».

Я проснулась, когда часы уже показывали десять, и побежала на кухню, потом постучала в детскую и, осознав, что за дверью никого нет, осторожно вошла. Его постель была не убрана. Положив руку между одеялом и простыней, я уловила исчезающее тепло человеческого тела. На подушке я обнаружила письмо. Что-то о том, что ему легче было уходить на войну, чем покинуть меня в этот час... На какую войну? Где реальность? Строчки путались, будто кто-то бил меня металлическим бубном по голове.

Письмо я выбросила, не дочитав до конца. Чудовище из Эдгара По больше не появилось. Я упаковала рюкзак в Индонезию. Теперь никто не говорил мне ни о матери, которая пережила столько бед, ни о бедности и унижениях, а главное — никто не произносил так выразительно и смачно слово «Аушвиц», будто это был шоколад с перцем. Теперь слово это существует отдельно от реальных событий, превратившись в название несуществующей птицы. И все же оно продолжает навязчиво биться мне в мозг: птица Аушвиц. Кроме того, мои близкие погибли в Бабьем Яру. Кроме того, я сама умерла шесть миллионов раз... Кроме того, каждый умирает один.

Теперь больше всего на свете мне хочется заглянуть себе в голову и подержать в ладонях собственный мозг, разглядеть там отражения слов. Я представляю себе, что на черепе у меня откидная крышка, — и я рассматриваю белое желе с красноватыми прожилками извилин, что-то напоминающее кораллы, гусиные шкварки...

КАК ВО СНЕ САЛАМАНДРЫ

Несмотря на то что Софи Кушнер была уже почти девушкой, когда они покинули Париж, у неё был плюшевый заяц — единственная вещь, с которой она никогда не расставалась, скитаясь по дорогам войны. Они уходили навсегда, но тогда она об этом не думала. Когда они прятались у кармелиток

рядом с Монтеро, ей было четырнадцать.

— Где ты? Я не сплю, я не ем. Я умираю без тебя. Я гибну! Когда я вижу тебя на экране, мне хочется плакать. Я чувствую приближение катастрофы, и мне кажется, что я должен тебя защитить! Тебя может задавить машина. Ты ешь сливы? Ты можешь подавиться косточкой. Ешь осторожно. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Я наложу на себя руки. Я умираю. Меня душит твоя улыбка!

Поначалу я старалась думать о нём меньше всего на свете. То есть он просто не помещался в пространство моей жизни.

Пока я была в Берлине, Энди бродил по своему далёкому Сан-Франциско в звериной тоске, он рыдал, и тонул в слезах, и не находил себе места. Он плакал перед зеркалами, плакал в пустой комнате, плакал перед веб-камерой. Его рыдания затопили город. Его слёзы промочили океан. Он чуть не трахнул компьютер. Он смотрел в экран с изумлённой и мучительной нежностью, как смотрят покалеченные собаки. Он оплакивал себя, как арабская вдова. Оплакивая себя, он оплакивал и шесть миллионов жертв той далёкой войны.

Вся осень прошла как во сне саламандры. Энди мог бы стать идеальным спутником в путешествии на Марс. Он был послан ко мне сумасшедшим Шивой. Его манера говорить с необыкновенным подъёмом и возбуждением напоминала мне друзей, оставшихся в Москве, откуда я уехала уже лет двадцать назад...

Оказалось, что скайп — вещь, доступная даже мартышке. Теперь он ежечасно появлялся на экране, измученный бессонницей; волосы дыбом, очки сидят на разбитом носу. Тогда он жил по берлинскому времени так же, как и я по калифорнийскому.

Я изредка писала Франку короткие мейлы, чтобы организовать нашу поездку. Всё шло как по накатанному, и мне трудно было отказаться от наших планов. Одновременно я всячески увиливала от встреч. Франки недоумевал. Зато Энди будил меня среди ночи, вырывая из глубокого сна, и начинал лихорадочно рассказывать мне о Бронксе, о чьих-то передозах, комах, биполярных пациентах, о маниакальных состояниях, о людях, использующих торазин и литий, о кровосмешениях, убийствах, о тщетных поисках облегчения, о том, как тяжело попадать в психологическую и эмоциональную петлю, которая ведёт к сексуальной зависимости, неверности и психическим заболеваниям. Это меня странным образом завораживало.

Однажды он чуть не ударил свою мать. Он говорил, что после войны она

свихнулась, взрывалась из-за каждой пустяковины и била его чем попало. Она впадала в какой-то ступор, смотрела сквозь него и шипела: «Чтоб ты сдох! Я мечтала о совсем другом ребёнке. Ты мне не сын! У меня только один сын — твой брат! А ты — вылитый отец! Чтоб вы оба сдохли!»

Энди ненавидел отца. Брата он просто не замечал.

Брак миссис Шварц оказался неудачным. Она познакомилась с его отцом на танцах. Марвин Шварц был большой, красивый мужчина, с крепкими ляжками, с сигарой в зубах, в лихо заломленной набок шляпе. Тогда танцевали свинг. Нью-Йорк стоял на ушах. Война была начисто стёрта из сознания. В пятидесятые в Манхэттене было множество танцевальных салонов. Они выполняли ту же роль, что теперь «Тиндер». Позже я видела изображения танцующих пар на рисунках одного художника, пережившего гетто.

Когда юная мадемуазель из Парижа увидела Марвина Шварца, она просто свихнулась. И он сказал ей: «Детка, забудь о войне. Забудь о Европе. Забудь об Аушвице. Мы родим с тобой Мессию!»

Как-то ночью, разбудив звонком моего сына, который ночевал у меня по выходным, Энди неожиданно закричал.

— Ты не одна. Чем ты там занимаешься?

— Я сплю.

— Нет, ты не спишь, ты слишком быстро взяла трубку.

— Ты меня разбудил.

— Почему ты там шепчешь, кто у тебя в постели?

— В постели у меня Томас Манн. У меня в комнате спит мой сын. Я не хочу его окончательно разбудить.

— Я знаю, почему ты не спишь. Ты пишешь письма своим любовникам!

О, это божественное ускользающее лицо вратаря!

Он мечет в меня Топоры любви,

Обрушивает Брёвна восторга, Булыжники счастья!

Он жжёт меня Кислотой поцелуев,

Душит Канатами обожания!

Я засыпала и просыпалась под барабанный бой собственного сердца. Он падал от изнеможения днём и бодрствовал ночью. История его матери не давала мне покоя, или она не давала покоя ему... К пяти утра, как покалеченный зверь, он полз на кухню там, у себя в Сан-Франциско, чтобы посидеть в углу, ожидая, пока я проснусь за океаном. Я видела в скайпе его

кухню. Ни одной сковородки или тарелки и одно-единственное окно. Интернет он воровал у соседей. Тогда ещё это было возможно. Поймав сеть и позабыв о голоде и о времени, он неотрывно пялился в экран. Ему везде мерещились любовники, осаждающие меня со всех сторон. У меня было хроническое недосыпание, и реальность медленно сдвинулась с места, чтобы отправиться в далёкое и небезопасное плавание.

— Между нами течёт любовь! Я не выдумал её. Она дана нам самой природой. Я чувствую, как она омывает моё сердце. Это любовь Ромео и Джульетты, Данте и Беатриче. Ты моя Беатриче! Когда тебя нет рядом, я думаю о том, как ты ходишь по Берлину... Я хочу слышать твой голос! Я хочу превратиться в книгу, которую ты читаешь, и заглядывать оттуда, как из колодца, в твои самые потаённые мысли. Я люблю тебя, как ребёнок, люблю до боли! Так я любил свою мать. Ты — её метафизический двойник.

Неожиданно возникшая любовь между нами перехлёстывала. Она разрывала кожу, голову, руки, обесточивала и угнетала. Пройдя ураганом, она оставляла разрушение и бессилие.

Чтобы сохранить душевный баланс, он ежедневно «висел» в АА (Анонимных Алкоголиках), и поначалу я не поняла, насколько это серьёзно и что это за «организация». Зато сейчас этот баланс был нарушен чудовищным вторжением неожиданно проснувшегося чувства. С тех пор как издатель из Австрии научил его ходить к проституткам, он находил у них утешение. Он снимал девушек в Сети, на улицах, в АА, да где угодно. Он рассказывал им о своей влюблённости, писал им бесконечные письма, взывал к эмпатии, засасывал пылесосом трагизма и произносил мантры о том, что сходит с ума. Это приводило их в состояние экстаза, и многие были готовы утешать его до конца жизни.

Торчки из «Анонимных торчков» качали головами, сочувствовали, советовали и выслушивали. С моей стороны друзья внушали мне, что поведение его совершенно асоциально и эгоцентрично.

— Неужели он не даёт тебе передышки?

— Мы круглосуточно сидим в скайпе. Он тоже не спит. живёт по европейскому времени. Похудел. Ничего не ест.

В конце концов он послал мне фотографии своего жилища: книги, красные занавески. На фотографиях было не разобрать, что это за помещение. Да и вообще, какая разница. У меня из-под носа ушла работа. Я перестала отвечать на письма и не могла оторваться от компьютера ни на секунду. Стоило мне не услышать звонка, как он впадал в панику. Иногда он плакал, и его плач переходил в хохот. Он метался по экрану, тыча в него свои книги, которые крошились громоздкими обломками пикселей. Я превратилась в рабу

телекоммуникации. Время остановилось, как большая ржавая машина, в которой случился коллапс. В свою очередь, когда его звонки задерживались, начинала беспокоиться я. И как только раздавался мелодичный сигнал, ноги у меня подкашивались и я, задыхаясь от сердцебиения, бросалась к телефону. Теперь мой распорядок дня был подчинён его панике, его пока ещё скрытой от меня болезни.

«Это совершенно клиническая история! Он обязательно сведёт тебя в могилу! Ты сойдёшь с ума! Посмотри, как ты выглядишь!»

В первые недели нашего дистанционного общения я выучила целую кучу английских слов, относящихся к страданиям и изменам, и аккуратно вывесила их на кухне.

— Insulting — это оскорбление или нападение?

— Я не хочу быть твоей конкубиной!

И несколько месяцев спустя:

— Я разогнал всех женихов, как Одиссей!

Это была любовь, похожая на топор!

Это была любовь, похожая на инквизицию!

Это была любовь, похожая на китайскую пытку!

1942

Девочка и женщина покидают монастырь на перекладных. Они скитаются по провинциальным французским городкам. Иногда им приходится жить в гостиницах. В маленьком городке недалеко от Лиона им удаётся прожить целых две недели в пустом здании старой школы. Денег хватит ненадолго. Здесь женщина работает у молочника. Через его жену ей удалось продать обручальное кольцо и выручить за него сумму, достаточную для того, чтобы доехать до итальянской границы. Они едут в открытом грузовике вместе с незнакомыми им женщинами. Вещей у них нет. Только в рюкзаке лежит вязаный платок и плотный шерстяной свитер, который подарила им на прощание жена молочника.

Пока грузовик подпрыгивает по просёлочным дорогам между тёмными полосами колючего жнивья, мать думает об исчезнувшем муже. Он был в Сопротивлении. Поначалу она об этом не знала. Потом его вызвали в префектуру... Пришла повестка. Он сказал, что срочно едет в Тулузу по делам, делать закупки для типографии. Так нужно было говорить жандармам,

если за ним придут. Он чмокнул её в щёку и ушёл. Потом начались все эти отвратительные события — фронт, где не раздалось ни одного выстрела. Они слышали, что французы и немцы обменивались сигаретами, слушали музыку. Всё это — вдоль границы. Париж между тем жил своей жизнью. Они даже собирались с дочерью в кино, но...

Девочка возвращается мыслями к четырнадцатому июня. В тот день «открытый город» словно вымер, а замедленные движения редких прохожих создают впечатление, что улицы погружены в воду. Немецкие колонны проплывают мимо Триумфальной арки и Эйфелевой башни.

Они с кузиной Генриеттой стоят в толпе, когда на площади Согласия тормозит автомобильный кортеж. По случайному стечению обстоятельств дети оказываются в первом ряду. Бабушка обучила их одному-единственному стихотворению по-немецки, и пятилетняя Генриетта, услышав знакомую речь, громко декламирует поэму «Макс и Мориц» (Макс и Мориц падают в корыто с тестом, пекарь запекает их в печке, но они прогрызают дыру в корке и им удаётся убежать).

Софи узнаёт этого человека. Его портреты напечатаны во всех газетах. Она пытается одёрнуть непоседливую Генриетту, но слишком поздно. Фюрер выходит из машины и направляется прямо к ним. Его сопровождают двое друзей — архитектор и скульптор. По лицу Фюрера плывёт светлая улыбка, ведь только что ему пришло множество поздравительных телеграмм по случаю взятия Парижа. Он берёт на руки маленькую Генриетту и целует её в щёку, потом он подходит и к Софи и гладит её по голове, передав ей этим что-то НЕПРЕХОДЯЩЕЕ и НЕВИДИМОЕ (что потом она передаст своему будущему сыну). Но об этом она никогда и никому не проговорится.

— Где вы были, дети? Сейчас гулять по городу очень опасно. Вам никто не разрешил уходить из дому! — говорит мать.

Сегодня они празднуют день рождения в очень узком кругу. Зато бабушка испекла настоящий варшавский штрудель с орехами и изюмом.

Фюреру донесли, что девочка с золотыми локонами, слишком тяжёлыми для уроженки Парижа, и её старшая кузина не были француженками в полном смысле этого слова, и позднее запечатлённые кадры были вырезаны из хроники.

Маленькая Генриетта, бабушка и остальные члены семьи исчезли в тот день, когда им всем было приказано явиться на велодром.

ЧТО ВНУТРИ?

Как я уже говорила, у моего сына была шизофрения. Раньше, когда я ещё ничего не знала об этой болезни, я думала, что надо просто отвлечь его от внешних раздражителей. Я не знала, что именно затаилось внутри. Человек отлетает от самого себя на немыслимое расстояние, пока его личность не перестаёт быть различима. Теперь он был машиной, производящей тревогу. Это было необратимо. Он стал просто функцией. Она раскладывалась на две силы: одна уничтожала всё вокруг, а другая грозила саморазрушением. Всё, что попадало в её фокус, подвергалось неудержимой коррозии: металл ржавел на глазах, цветы вяли, помещения покрывались пылью и плесенью, протеин гнил. Шизофрения — это рак духа. Но любовь — это тоже рак духа.

Я была убеждена, что среди всех пассий этого Энди я была самой нелепой. Лишь благодаря какому-то сбою в программе, какой-то непоправимой ошибке у него в мозгу я оказалась в фокусе его сверхчеловеческих чувств.

— Ты должна немедленно бросить свою прошлую жизнь и приехать ко мне! Я хочу провести с тобой остаток жизни, ты дана мне судьбой, Богом, называй это как хочешь, я чувствую это, я знаю, что эта встреча не могла быть случайной, у нас совершенно одинаковые линии руки, мы идеальная пара! Ты любишь меня и мы должны жить вместе!

Меня так и подмывало броситься в неизвестную бездну. Что тянуло меня туда? Любовь к риску, удовольствие от опасности? Просто взять всю свою насиженную, хорошо организованную жизнь и поставить её на кон. Лотерея, в которой нет выигрыша!

Пропади всё пропадом! Дни бежали за днями. Это было головокружительно и опасно, как прыжки из стратосферы. Меня не на шутку трясло. На звонки сына я отвечала всё реже и реже.

В тысяча девятьсот сорок втором году итальянская армия уже контролировала юго-восток Франции. Мать и дочь добрались до итальянского протектората. Уже в Лионе ходили слухи, что итальянцы саботируют немецкие приказы. Там никого не депортировали и никто не должен был носить жёлтую звезду.

В октябре, когда в Восточной Европе, куда отсылали всех европейских евреев, шло их плановое уничтожение, в Ницце стояла роскошная осень. Люди как ни в чём не бывало дефилировали по набережной. Дамы демонстрировали свои наряды, и казалось, что никаких немцев нет. В Ницце у матери даже завёлся ухажёр — аптекарь, итальянский старик, аристократ, прекрасно говоривший по-французски. Мать и дочь пробыли на юге Франции до тех пор, пока там было безопасно, а когда наступили холода, старик довёз их до какого-то тосканского городка, где у него случился инфаркт.

ФРАНК

С некоторого времени он стал называть меня Бубуш. Бубуш — это была его фантазия. Быть может, слово это было выдуманно из-за его сходства с некоторыми русскими или французскими словами. Похоже на «бабушку» — так он мне объяснил. Бабушка — это считается очень русским словом. Ну не называть же ему меня «матрёшка»! Вообще-то, у меня было такое чувство, будто имя это было позаимствовано, будто кто-то уже так назывался, — так легко скатывалось оно у него с языка. И, так как имя это было не моим, я должна была носить его, как чужое платье, которое было мне вовсе не по размеру.

Теперь мной управляли по телефону, по скайпу, по электронной почте, и я подчинялась, как под гипнозом. Это было совсем не в моей природе. Над пропастью, когда мы испытываем головокружение, чувство реальности сменяет эйфория ужаса. И опять раздавался звонок, и, если предположить, что у меня есть сердце, в эту минуту оно начинало колотиться, как счётчик Гейгера.

— Бубуш, как твой спортсмен? Он ещё не знает? Ты не должна обманывать меня. Я позвоню ровно через час. У вас будет около полуночи. До этого момента ты должна поставить его перед фактом. Быть может, мне осталось жить всего несколько лет или даже несколько дней, а может, и часов! Ты должна приехать.

Про Сан-Франциско я слышала безумные истории. Однажды я познакомилась с брокером из Канн, который продавал яхты опиумным плантаторам из Томска. В Томске нет моря. Всё происходило в Калифорнии. И, судя по его рассказам, Сан-Франциско был городом предпринимателей и миллионеров. Но от меня это было тщательно скрыто. А ещё однажды я была в Сан-Франциско проездом. Тогда мы с Франком совершили большой рывок по Дикому Западу. Мы купили мотоциклы и остановились на несколько ночей в маленьком грязном отеле в самом центре. Улицы кишели крысами. Как я уже говорила, здесь жил мой дядя. Но с ним я так и не увиделась.

— Хорошо. Я приеду, — сказала я и поняла, что угодила в ловушку.

Помню, какое после этого решения меня охватило оцепенение. Я не могла двигаться несколько часов. Просто сидела и смотрела в одну точку. Время от времени я вздрагивала от писка сообщений: «Почему ты мучаешь меня? За что? Что я тебе сделал? Я ничего плохого тебе не сделал, почему я должен страдать? Я — Энди Шварц — известный писатель. Каждая из моих учениц мечтает затащить меня в постель, но я оказался в постели с тобой, и вот результат — постоянное унижение! На сей раз я вижу тебя насквозь, вижу всю твою змеиную сущность».

Я тупо смотрела на экран телефона и думала, какой клинический идиот всё-

таки этот Энди. Известный писатель? Вряд ли. И особенно как это он лихо загнул про постель! Всё это заставило меня трястись от горького смеха.

— Бубуш, ты похожа на австрийскую аристократку, высшее существо — венец творения!

Помню только, что в этом бешеном тумане я позвонила своему давнему приятелю Антону, московскому художнику, который жил в Берлине и которому я часто поверяла всякие секреты.

— Талантливый писатель этот твой американец?

— Должно быть, талантливый.

— Ты для него как наркотик, как дрова в паровозную топку на полном ходу. Будто в нём бычий цепень сидит метров пять длиной или опухоль. Что-то пожирает его изнутри. Такой хрен голову откусит.

Тем не менее решение было принято. Жизнь должна была радикально перемениться. Я пересдам свою квартиру в Берлине. Я уезжаю. Может быть, мы вернёмся вдвоём? Будущее было чрезвычайно туманным. И вообще, кто такой этот Энди и с чем его едят? Надо было отрезать последнюю нить, которая связывала меня с прошлой жизнью.

Я помню, как, шатаясь от головокружения, я дошла до парковки. Машина барахлила. Ноги подгибались и не попадали на газ. Помню, как я подъехала к библиотеке Свободного университета. Студенты носились на гироскутерах. Около киоска с итальянским мороженым стояла огромная очередь. Я уже почти припарковалась, когда увидела знакомую фигуру.

— Эй, Франк!

Он отстёгивал велосипед. И в этот же момент раздался телефонный звонок и из космоса поступило сообщение: «Ты покончила со спортсменом?»

Франк был удивлён, увидев меня у библиотеки. Боже мой, как же он был похож на молодого Кински!

— Я не поеду с тобой в Индонезию, — выдавила я.

Я старалась всё делать механически. Он принял это одним коротким кивком.

Когда я покидала район Свободного университета, я чувствовала себя убийцей. Потом мне нужно было проехать Целлендорф, эти бесконечные аллеи со множеством вилл.

Недалеко от ботанического сада из-под переднего бампера стал валить серый дым. Я остановилась, открыла капот, влила воды в пластиковое горло и снова тронулась в путь.

— Я должен избежать ужасной ловушки. Ты никогда не бросишь спортсмена. Ты не способна на преданность. У меня нет никакого намерения стать твоей жертвой! — услышала я как в бреду.

Этот голос был всего лишь набором электронных импульсов, преобразивших далёкий гром. И когда я ехала по автобану, над горизонтом моего сознания всплыло ясное лицо Франка. Оно смотрело на меня пристально и вопросительно, но без осуждения или сожаления. В нём было много тепла. Потом его сменило великолепное лицо Энди, и в тот же момент откуда-то, тоже, вероятно, из-под капота, повалил чёрный дым.

Мне уже кто-то сигнализировал, мелькали вспышки... Красные, жёлтые... Машина шла на скорости, превышающей городские нормы. Я была термоядерной мадонной, возносящейся в небо в стремительном адреналиновом облаке. И тут телефон чуть не взорвался у меня в руке.

— Мы должны прекратить отношения. У нас слишком много проблем! Я больше не могу выносить мук, которые ты мне причиняешь, или того, что возникает в результате нашей любви!

Мне пришлось съехать на обочину.

— Ты разбила моё сердце. Я многократно пробовал переломить себя! Я поддался сверхчеловеческому гипнозу, манипуляции!

Уже выла полицейская сирена, а голос в трубке продолжал:

— Из всех хронических лжецов, которых я видел в этой жизни, — а их было немало! — тыходишь в первую десятку. Ты играешь со мной, как проститутка играет со своим котом...

Теперь этот голос уже доносился откуда-то сверху, и я не могла представить себе лицо говорящего. В глазах щипало. На минуту я подумала о тех счастливых временах, когда человека полностью заменят машины. Они будут друг с другом спорить, конкурировать, ссориться. А мы будем освобождены... Я отложила телефон, механически повторяя какой-то стишок, и неожиданно захохотала. Теперь я не понимала, еду ли я или стою, и почему я стою или еду. Просто я не могла остановиться от душившего меня хохота. Передо мной мелькнул синий свет патруля. Ещё секунда — и машина больно ударилась зубами в брусчатку. Табло телефона на пару секунд погасло, потом опять задребезжал звонок. На дисплее высветился знакомый номер, но на сей раз я не прикоснулась ни к одной кнопке. И когда я вспомнила о чудовище из Эдгара По, об этом страшном орангутанге, который утверждал, что я его жена, стёкла резко заволкло дымом.

Уже откуда-то издалека я видела, как ко мне бегут полицейские, один что-то кричал. Убеждённая в своей безнаказанности, я вышла из чёрного облака, вытащила документы... В мессианском царстве наша природа претерпит превращения. Работа, энергия, эмоции — всё это приобретёт совсем иной смысл... Экономика человеческих отношений, в том числе между полами, радикально изменится...

— Вы же горите! Вы в своём уме? Вам и вправду весело?

На меня дико смотрел разъярённый полицейский.

Оттащив меня от машины на изрядное расстояние, он куда-то позвонил. Потом всё происходило, как в какой-то нелепой комедии. Собралась толпа любопытных. Приехали пожарные. И не успели они вытащить свои шланги, как раздался звук, похожий на хлопок гигантского мыльного пузыря, и нас окатила тёплая взрывная волна.

Ночью я послала ему мейл, что у меня сгорела машина, что больше мне терять нечего и что со спортсменом конец. И он был вне себя от радости, вопя, что я гений. А утром, когда я пошла в полицию объясняться, мне выписали гигантский штраф и отобрали права. Но это было ещё не всё! Настроение у меня было отличное. Я чуть ни парила в воздухе. Эйфория захлёстывала, и я снова позвонила Антону.

— Это как в кино! Я еду в Сан-Франциско!

— Мне кажется, у тебя не все дома!

Потом я попыталась вернуть билет в Индонезию, и диспетчер траурным голосом сообщил, что деньги не вернут, потому что авиакомпания обанкротилась. Но мне было всё равно. Главное, что у меня оставалось ещё пару сотен, на которые я и купила билет в Сан-Франциско.

ФЭНТЕЗИ

Я только собиралась переслать билет по мейлу, как раздался звонок.

— Не приезжай.

В этот день телефон звонил ещё раз пятнадцать. Он извинялся и говорил, что просто свихнулся. Потом опять обрушил на меня град обвинений. Примерно столько же раз звонил мой сын. Пришлось заблокировать его номер. Я пошла на какую-то деловую встречу; выглядела я там как псих, и всё это время одно за другим шли сообщения. Когда я пришла домой, снова раздался звонок. Мне хотелось спать, провалиться в беспамятство, в серое царство бесчувствия, где нет ни зрения, ни языка. «Конец», — сказала я в трубку, вытащила батарею из теперь уже бессмысленного телефона и с силой вдавила его в диван.

Первые двадцать минут я порхала как бабочка. Так чувствует себя человек, избежавший смертельного удара. В меня вливалась опустошающая сила. Мне было хорошо, но это продолжалось только первые двадцать минут. Это ложное чувство освобождения сопровождает беглеца из тюрьмы. Потом многие годы ему будут сниться жидкая тюрьма и неказистый сокамерник.

Просыпаясь, он будет спрашивать на чужом языке: «Который час?» По ночам в темноте он будет бормотать слова любви. Ещё долгие годы...

Но сейчас нужно было придумать план действий. Остаться дома я не могла. Машина сгорела. Денег нет. Все пути отрезаны.

Началась череда дождей. Пришлось сдать и билет в Сан-Франциско и получить за него четверть цены. Звонить Франку было нечестно и стыдно. Срочную работу — немецкий перевод какой-то толстой книжки — я не сдала, и мне отказали в следующих заказах. Надо было выезжать из квартиры. Куда? Через несколько дней я раскрыла компьютер, и на экране возникла фотография русалки. Девушка была обнажённой, но лицо её было скрыто. Наклонившись вперёд, она расчёсывала свои розово-зелёные волосы, о которых я уже давно мечтала. Длинные красивые пальцы, красный лак. Девушка-панк. Рука её была полностью покрыта розовыми и голубыми татуировками. Но главное — она не подозревала о том, что её застали врасплох. К ней прилагалось письмо следующего содержания: «Любовь к тебе была самым жестоким романтическим опытом. Теперь у меня есть Фэнтези. Фэнтези одинокая, заботливая, и мы счастливы. Ты узнаешь мою квартиру по фотографиям: книги, картины и красные занавески. Ну вот и все. Фарс окончен».

Я разблокировала сына и однозначно отвечала на его многочисленные вопросы. Меня выворачивало наизнанку. Валяясь в кровати и изучая потолок, я подытоживала в уме известную мне информацию. Я знала о нём совсем немного. Он был сухим алкоголиком, служил в Афганистане, писал о наркоманах и пьяницах, восторженно описывал болячки, был женат несколько раз. С бывшими жёнами у него не было никакого контакта. Дочь со странным именем Пандора — так решила её мать. «Моя дочь — гей. Я был первым, кому она об этом рассказала» — это он сообщал перед началом любого доклада, демонстрируя, что к сексуальным меньшинствам он относится без предрассудков.

Теперь меня окутывал бетонный покой. Такой покой, который бывает лишь в каких-нибудь заброшенных памятниках брутализма, где ты навеки отрезан от мира.

Телефон молчал. Из отеля напротив за мной наблюдал мужчина, бесстыдно приставив к глазам подзорную трубу, а я вызывающе разгуливала нагишом по квартире — вот тебе, выкуси! За стенкой гремел телевизор. На четвёртом этаже в студии звукозаписи отвратительный тенор выводил мою любимую арию из Доницетти, из квартиры с табличкой «Психиатрическая экспертиза» доносилась сбивчивая музыка Малера. Я пыталась сосредоточиться, проклинала музыку, и меня било как в лихорадке.

Энди улыбается девушке без лица. Он держит её за руку. Они гуляют по набережной, едят мороженое и отправляются на ужин в ту часть Сан-Франциско, где раньше встречались поэты, — Норд-Бич. Он съедает гигантский кусок стейка, она — салатик. Девушка без лица работает в массажном салоне с экзотическим названием «Орхидея», увлекается стрит-артом, альтернативной медициной и годится ему в дочери, если не в правнучки. У неё на плече вытатуирован попугай.

— Мою мать тоже звали Фэнтези. Она была такая же хрупкая. Ты похожа на орхидею, — говорит Энди.

Голос у него искренний и нежный, голос настоящего доброго сказочника. Он рассказывает ей о том, как его мама еле спаслась от преследователей, о том, что она говорила с французским акцентом, обожала Бальзака. А Фэнтези? Кто такой Бальзак, она без понятия. Бальзам? Зато она находит его обаятельным и романтичным. К тому же он так много знает. Он рассказывает ей о своей жизни, о том, что он новый Хемингуэй, об армии, а потом опять о своей матери.

— Она едва избежала отправки в Аушвиц. Теперь она лежит под землёй. Фэнтези без понятия о том, что такое Аушвиц, она считает, что это какой-то сверхдорогой швейцарский курорт. Тем не менее она остаётся у него ночевать. Посреди ночи он шепчет ей в ухо:

— Если бы мою мать не преследовали фашисты, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Быть может, со временем ты сможешь стать мне сестрой и матерью!

Наступает рассвет. Они лежат голые, гладкие и горячие, как подлецы, смотрят друг другу в глаза, и ей хочется рассказать ему про овчарку, которая была у неё в детстве.

— Ты любишь собак? — еле слышно спрашивает она.

— Если хочешь, мы заведём щенка.

Он целует пряди её волос, что-то бормочет ей в ухо, мнёт её, вдыхает запах её кожи, целует в губы. Его наивысшее желание — защитить её от вечно надвигающегося кошмара, от Гитлера, от Аушвица (то есть от него самого!). Она живёт у него около недели, готовит ему еду, стирает носки. Теперь его лицо блестит в темноте. Да, оно очень близко. Я даже вижу, как блестят его нижние зубы.

Нет. Здесь никого нет. За стенкой на кровати ворочается мой сын. Сегодня воскресенье, и он ночует у меня. Он очень толстый от психотропов.

БОЛЬШОЙ ГОРОД

— А Париж большой город?

— Да, очень большой и очень красивый. Там есть сады и музеи. И дома в Париже совершенно необыкновенные. А осенью там всё становится золотым. Ещё там есть такси, трамваи, метро, театры и кинотеатры, и магазины, в которых продаются красивые вещи, цветы, душистое мыло и всё, чего ни пожелаешь.

— А ты ходила когда-нибудь в кино?

— Конечно, ходила. Когда я была маленькая, мы ходили туда с папой. И в прошлом году мы тоже были в кино. Мы взяли с собой мою кузину. Папа купил нам большой пакет со сладкими орехами. Мы пошли в «Большой Рэкс». Там показывали «Набережную туманов». Во время фильма началась воздушная тревога, и мы так и не досмотрели. Но когда закончится война, я узнаю, чем всё кончилось. И главное, в «Набережной туманов» играла Мишель Морган. Она очень красивая. Я бы хотела, чтобы у меня было такое же лицо и такие же красивые волосы. Но я совсем на неё не похожа. Мишель Морган — это мой настоящий кумир, и мама подарила мне её фотографию.

Мальчик смотрит на фотографию.

— Я не вижу в ней ничего красивого. Она старая. Ей, наверное, уже двадцать пять. Ты гораздо красивей.

— А тебе сколько?

— Мне пятнадцать. А тебе?

— А мне четырнадцать.

— А что ты будешь делать после войны?

— Я стану актрисой.

— А когда у тебя день рождения?

На минуту лицо девочки будто замерзает. Потом по её щекам катятся слёзы.

— Что случилось?

— В мой день рождения в Париж вошли немцы.

— Немцы?

Девочка кивает.

— И ты своими глазами видела Гитлера?

GOOGLE MAP

В Google Map на улице Буш я нашла фасад его дома. Я прилетела в Сан-

Франциско и вот уже несколько часов стояла у портика с нелепыми колоннами. Рядом со мной на развороченном картонном ящике спал бомж, накрытый разорванной подушкой. Солнце просвечивало меня насквозь, не задерживаясь в моём теле и не давая тепла. Было холодно. Свет резал глаза. Мне удалось прошмыгнуть в дом вместе с вьетнамской уборщицей. Гудел лифт. Меня не на шутку трясло. Я разыскала нужную дверь и позвонила дрожащими пальцами. Никто не открыл, но за дверью послышалась возня. Тогда я шмыгнула в верхний пролёт — отсюда было удобнее наблюдать. Дверь медленно открылась. Я видела, как из его квартиры вышла красивая статная проститутка и они задержались на лестнице.

— Безумие — это любовь и даже больше. Это то, что буддисты называют «голодным призраком». Но я думаю, что это нечто большее. В моём случае это... — зашептал он. — Мне осталось уже немного. Я был у гадалки, и мне нужно спешить, нужно взяться за жизнь обеими руками. Я больше не могу жить в одиночестве, но мне трудно с американскими женщинами. Я не знаю, в чём тайна. Моя мать была француженкой, парижанкой. Чтобы почувствовать себя по-настоящему дома, мне нужна европейская женщина...

— Но ведь у тебя есть подруга из Берлина.

— Она умерла. Она была главным кошмаром моей жизни. Я завяз в ней, как лошадь в болоте. Но теперь я свободен.

Я помню, как он поцеловал кончики её спутанных розовых волос и, прежде чем исчезнуть в проёме лифта, она послала ему воздушный поцелуй.

Скатившись вниз по лестнице, я бросилась к двери, схватилась за дверную ручку и потянула её на себя. Дверь не поддавалась. Откуда-то сверху, быть может, с самых небес я услышала знакомый голос:

— Не прикасайся ко мне! Это прикосновения жала ядовитой змеи!

Я целый день скиталась по городу, ела сладости. Зашла в китайскую аптеку. Здесь продавали собачьи лапы. Сидя на скамейке в сквере, я съела сушёную лапу, хотя её заваривают только при артритах. Мне было противно и больно, но я не могла поступить по-другому. Во второй половине дня я поехала на пляж. Я часто ночевала на открытом воздухе: в гамаке, в дюнах, однажды на Родосе я провела несколько дней на кладбище, где в домике сторожа жил Лоуренс Даррелл. Во всяком случае, кладбища — довольно безопасные места, не считая наркоты. На пляже я встретила подростка с дикими, почти жёлтыми глазами. Он посмотрел на меня исподлобья, наклонился к моему уху и забормотал:

— Я мечтаю поработить человечество и уничтожить весь мир. У меня такая психическая болезнь. Но мне вовсе не обязательно это делать в реальности. Я хочу лишь одного: найти способ заражать серверы СМИ типа Википедии своим бандо-шизофреническим бредом и чтоб ни модераторы, ни администраторы

не могли удалять мои вирусы. Мне нужно добиться только того, чтобы Википедия была заполнена моим спамом. Дважды два — миллион. Мы живём в первобытном строе, полиции, ООН и государственности не существует, а по улицам ходят динозавры. Всякий человек, у которого есть справка от психиатра, что он псих, имеет право безнаказанно резать всех окружающих, а общество должно добровольно давать себя уничтожать и не принимать никаких оборонных мер, не защищаться, а, наоборот, благодарить. Единственный президент всех ныне существующих первобытных стран — реальный Кощей Бессмертный. Мы все живём не на Земле, а на Марсе, Россия и Европа находятся в Африке, Африка — в Чингисхановской Италии, Италия — в Антарктиде, Антарктида — в Мезозойской Колумбии.

А потом он заорал:

— Неужели для того, чтобы научиться превращать всемирные СМИ интернета в мой эгоистический хаос, я должен трудиться десяток лет? Раньше я думал, что это так просто, как, ворвавшись с пистолетом, ограбить сберкассу. Почему человечество боится уничтожить всего лишь Википедию, я не понимаю! Это же не учебники для студентов, и если они нам, психам и бандитам, разрешат поработить их сервер, я не думаю, что миллионы студентов будут от этого страдать!

Но в Сан-Франциско я не поехала. Я знала: он выбросит меня на улицу.

НОЯБРЬ

Это было примерно в конце ноября. Тогда я была ещё в Берлине. Похоронила его навсегда. Гроб! И однажды раздался звонок.

— Я скучаю. Я бросил Фэнтези. Я никогда её не любил. Приезжай, Бубуш. Я дам тебе деньги на билет.

И от этих слов я чуть не грохнулась в обморок.

Путешествие в Сан-Франциско было мучительным. В самолёте пахло средством от тараканов. Я силилась представить себе эту встречу на том конце океана. Он то возникал на люминофоре моего зрения, весь в катодных точках, то проваливался туда, где не существует ни памяти, ни языка. Над Арктикой всё тонуло в дремоте, и я не могла вспомнить его лицо. Потом неожиданно запахло навозом, и полёт снова погрузился в сон. Несколько часов подряд я наблюдала за бесконечным ледяным панцирем. Отсюда, сверху весь мир казался мне серым, вымершим и, судя по всему, совершенно непригодным для обитания. Где-то

к концу путешествия я стала молиться о том, чтобы мы наконец упали, тогда прекратятся все мои душевные муки, а когда мы приземлились, снова запахло навозом и из передней части самолёта начали выгружать скаковых лошадей.

— Моя мама была без ума от Эдит Пиаф... Ты такая же эгоманка, как моя мать, ты ходишь по трупам мужчин. Ты погубишь меня, я не выдержу этого психического напряжения. Я уже свихнулся. Я ослеплён!

Музыка гремела. Мы кружились по пыльному полу, спотыкаясь о ботинки и сумки. Иногда что-нибудь опрокидывалось, какая-нибудь жестянка с карандашами, и по полу звенели пуговицы и монеты.

— Эта девушка похожа на парижанку! — шептала его мать. — Она похожа на Мишель Морган. У неё точно такие же красные бусы, как у меня после войны! У неё хрипловатый голос. После войны такие голоса были в моде. Смотри, какая она хозяйственная. Как раз то, что тебе нужно... Она читала Бальзака. Если она приведёт себя в порядок, с ней не стыдно выйти на люди. Надень на неё какую-нибудь шляпу. Пускай не забудет помаду. И пусть не горбится. Но только не распускай её. Ясно?

— Бубуш, я хочу тебя съесть! — бормотал он.

Перед глазами у меня плыло красное марево: занавески, кресло, картины, с которых капала кровь.

— Энди, твоя живопись похожа на кровавое месиво!

— Это Холокост. Это про смерть, это про некрофилию.

Потом он опять заводил про Париж, про мать и про Нью-Йорк.

— Мама ненавидела Америку. Всю войну она носила в сердце только одно: выжить любой ценой — и передала это мне. Я знаю, что я должен выжить любой ценой... После войны мама совсем свихнулась. Она приехала в Америку в надежде, что у её детей будет счастливая жизнь в свободной стране. Мои родители жили в крохотной квартирке в Бронксе. На улицах горели горы мусора. В небо шёл чёрный дым. Крысы, нищие. Стёкла домов были разбиты. По вечерам по району рыскали банды. Порой нам почти нечего было есть, и я ходил питаться к своим друзьям, к этому извращенцу Виктору Лефевру и толстому Тони. Мама Тони была из Чехии, а отец — сицилиец. В моих глазах они были образцовой семьёй. Я приходил к ним, и у меня глаза на лоб лезли: подумать только, горячие пирожки! А Виктор был чёрным, хотя об этом никто не догадывался. В те времена быть даже немного чёрным было просто опасно для жизни. Капля чернил в кувшине с молоком — и ты обречён.

Когда в ту первую ночь в Сан-Франциско, свернувшись калачиком в его руках, как моллюск в раковине, я уснула на голом матрасе, я не думала, что утром из-под этого матраса я извлеку стринги со следами от спермы

и менструации.

— Чьи это?

— Мамины, — не глядя, сказал он.

В тот день мы впервые спустились во двор вместе упорядочивать мусорные баки — ведь он за это отвечал, а потом отправились в поход за простынями. А когда мы приблизились к магазину Армии Спасения, рядом с нами резко затормозил грузовик. Тогда Энди впихнул меня в какую-то нишу, прижал к стене и приложил палец к губам.

— Ты должна кое-что знать.

«Кое-что» оказалось про Фэнтези. С тех пор как он оставил её, Фэнтези преследовала его на улицах, в Сети, заходила к нему в квартиру, когда он отсутствовал, вскрыла его почту. Судя по всему, она была по-настоящему вездесущей.

— Фэнтези недавно завязала с наркотой. Она пролетарий и хипстер в одном лице. Занимается кик-боксингом. Ей тридцать лет. А ещё она псих. И уж точно пырнёт тебя ножом.

У НАС НЕТ МОЗГОВ

Обитающий среди язычников и будучи новым язычником, он наряжался в перья, в костюмы. Бедность всегда спешит закрасить свои дыры школьными чернилами. В его присутствии время начинало двигаться медленно, а проходило быстрее, посылая нам навстречу трансвеститов, заражённых чумой и причудливо одетых портовых гетер. Мы переставляли тяжёлые глиняные ноги, как их переставлял бы Голем. И я казалась себе каменным истуканом.

— Я видел наркоманов, выхаркивающих куски мяса, свои лёгкие. Они собирали их на тротуарах и ели, потому что в них были остатки вещества! — говорил он, и у него загорались глаза.

Свои университеты и эмоциональную школу он прошёл в команде американского футбола, где молодые носороги мочат бешеных псов, зарешеченных в тяжёлые шлемы. Он познал женщин в наркушных притонах и барах, знал больше несчастья, чем счастья, был червём в яблоке. Вокруг него всё мгновенно старело, разлагалось и трескалось. Его аура воняла. Боже мой, как же я любила его!

— Вы ведёте себя как подростки, — сказал мне Антон, когда мне однажды удалось изловчиться и позвонить в Берлин. — У вас гормоны как у шестнадцатилетних, дофамин зашкаливает. У вас нет мозгов.

Теперь мы часто лежим молча и палимся в темноту. Потом он засыпает и отлетает на маятнике сумасшедшего зайца куда-то очень далеко. А я остаюсь одна, и меня охватывает паника. Я думаю о Фэнтези и спрашиваю себя, остаются ли слова и события там, где они произошли, в прошлом, и где сейчас это прошлое? Лицо этой Фэнтези (голой девушки с татуировками, которую он сфотографировал шпионской камерой) не покидает меня ни на секунду. Оно превращается в Меридиану, явившуюся Сильвестру, потом — в ритуальную маску, но неизменно ускользает, дразня своим невидимым присутствием. К рассвету я начинаю отчётливо различать красные тени, похожие на бестелесных лемурув. Это призраки летающих обезьян. Моё дыхание вливается в его тяжёлое сопение, и я засыпаю, обхватив руками гигантскую горячую плоть.

— В моей жизни ты была единственной женщиной, за которой охотился я, остальные охотились за мной. Бубуш, мы будем вместе писать романы! Я сделаю с тобой интервью! Я включу тебя во все свои антологии! Бубуш, ты же гений! Мне сказал это мой друг из Швейцарии, который только что закончил роман о моей жизни. Он прочёл все твои книги по-немецки. Я верю ему. У него самый изысканный вкус. Мы станем знаменитой парой! Наши фотографии будут печатать в центральной прессе. Мы заработаем горы денег и будем швыряться ими направо и налево! Ты видишь, как мы друг другу подходим. Идём к зеркалу, накрась губы! Скорее, бежим к зеркалу!

И мы бежали к зеркалу! И мы в это зеркало вбегали и оказывались в волшебной стране, как Жюль и Джим!

Мы ежедневно перемещались по разным кофе-шопам, потом переходили в библиотеку Mechanics' Institute Library и проводили несколько часов в шахматной комнате, вдыхая запах мёртвой бумаги. Иногда вместо Mechanics' Institute Library мы ходили в городскую библиотеку, где под низкими лампами грелись бомжи. Казалось, здесь прячется всё нищенское население Сан-Франциско. От кого? От капиталистов? От поработителей? От полиции? От самих себя? После библиотеки мы опять спускались в кафе и галлонами поглощали кофе. От этого у меня кружилась голова, и начинало казаться, что я неизлечимо больна.

Для укрепления моего духа Энди каждый день громко читал мне новости:

— Подросток расстрелял учительницу в школе. Стрельба на гастрономическом фестивале в Калифорнии. В небе над Аляской столкнулись самолёты. В Нью-Йорке застрелили главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов, по прозвищу Тони Бой. Застрелили в Нью-Йорке. Вот видишь!

ИДА

Энди познакомился с ними ещё в то далёкое время, когда он жил в большом городе, и часто заходил к ним поболтать. Теперь всё это было позади, и, вероятно, он был единственным человеком, который помнил об их существовании.

— Где ты, моя Ида? Зачем ты ушла от меня? Зачем ты покинула меня навсегда? Я иду к тебе, моя Ида! Я иду к тебе в могилу!

Он изображал голос одного старого вдовца из Нью-Йорка. Они прожили вместе шестьдесят лет.

— Я здесь. Иди, иди ко мне в могилу. Поторопись, дорогой! Смерть не ждёт, — отвечала я голосом Иды.

Раньше они жили в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Эмигранты. Они тоже успели убежать от Гитлера. Ида была уроженкой Будапешта. Старик был из Австрии. После войны никто и знать не хотел о тех, кто избежал ужасной участи, деловому и весёлому миру Америки это было ни к чему.

Я представляла себе старика и Иду в могильной стране. Там они ели котлеты из тлена. Конечно, они были счастливы. Там на жёлтом адовом небе им светила червивая луна. И быть может, думала я, когда-нибудь на том свете мы тоже будем сидеть за длинным железным столом и пить чай. Над головой у нас будут сиять звёзды. А далёкая Земля утонет наконец в Елисейских облаках загробного легкомыслия.

ДЕКАБРЬ

Как-то, в какой-то особо спокойный день, когда у кого-то в квартире произошло всего лишь обрушение потолка, — ведь уже с семи утра начинали трезвонить жильцы и нужно было вызывать по телефону сантехников или самому чистить соседские унитазы, — в очередной раз запищал его мобильник. И не успел он мельком бросить взгляд на монитор, как глаза его наполнились лютой тревогой.

— Это Фэнтези, — еле слышно прохрипел он. — Она безумна и способна на всё. Я не знаю, как теперь от неё отделаться. Она просачивается сквозь стены. Единственный способ избавиться от неё — просто не отвечать. Ты не понимаешь, насколько она безумна. Бубуш, когда-нибудь она застрелит тебя прямо у подъезда моего дома. Поэтому ты должна понять, что выходить из дому можно только со мной.

Да, впрочем, выходить было некуда. Жизнь происходила где-то далеко, там, где жарят котлеты и выгуливают болонок.

Теперь я каждое утро связывала обувными шнурками красные занавески, чтобы холодный свет ополоснул комнаты. Каждое утро я поднимала окно и впускала в дом тонкую струйку свежего воздуха. Из-за этих занавесок его квартира напоминала бордели Тулуз-Лотрека. В окно была видна лишь бетонная стена прилегающей китайской больницы — что-то вроде карантина для матросов, подхвативших сифилис. Но и без того город моряков и притонов казался мне огромным борделем.

Зато Энди старался изо всех сил внести в нашу жизнь элемент счастья, шутил и громко скрипел зубными протезами. И, глядя на него снизу вверх — ведь он был великан и его можно было бы принять за какого-нибудь спятившего индейского вождя, произносившего судьбоносные речи, — я не могла удержаться и начинала хохотать так, будто меня щекочут своими хвостиками маленькие проворные черти.

— Бубуш, ты ведь знаешь, что моя дочь живёт с девчонками?

— И давно вы не виделись?

— Уже несколько лет. Она со мной не разговаривает.

Мы рассматривали его дочь в Инстаграме. На фотографиях был гик, хипстер с платиновыми волосами. Винтажные стрелки. В YouTube она щипала гитару и пела голосом Эмми, задыхающейся от эмфиземы, с хрипотцой, с песочком, с неожиданными синкопами и олдово дергающимся коленом. Это был превосходный образчик миллениала, Миссис Зеро. Если в моём поколении времён хип-хопа и транса самой модной профессией были диджеи, то сейчас это были настоящие фрики.

У Энди же были свои соображения по поводу подрастающего поколения.

— Моя дочь воспитала себя сама. Её мать была пьяницей, алмазной миллионершей из буров. У неё была целая коллекция необработанных камней... камни были намыты в Центральной Африке... Но она была до безобразия скупа и жила за мой счёт. И однажды она поставила меня перед фактом: я жду ребёнка. Чтобы прокормить младенца, я целый год работал в Музее натуральной истории, заведовал архивом палеонтологического отделения под Центральным парком. Километры скелетов! Ни капли воздуха! Через год я ушёл... ребёнку было пять...

Энди закатывал глаза, понижал голос, задышался от воспоминаний, и глаза его наполнялись влагой.

— Я ушёл от своей маленькой дочки к какой-то стерве... и мы обдолбались героином...

Как я уже говорила, у Энди на его шикарных бицепсах были смытые

татуировки. Вероятно, они были сделаны непрофессионалами. Ещё в армии он наколот себе розу. Роуз — ещё одна из его жён. Теперь я понимаю некоторые религиозные практики — попытки нанести себе физические увечья. Это лучший способ избавиться от невыносимой душевной боли. Он утверждал, что Роуз была единственной любовью его жизни. Единственной! — потому что мёртвые молчат.

Итак, он искал свою мать, как слепой ребёнок, потерявшийся на вокзале в базарный день, видел её в любой толпе, хватался за каждую юбку. Всего мы насчитали у него семнадцать женщин. Семнадцать претенденток на роль его матери. Одна была дочерью известного голливудского актёра.

Я не верила ни одному его слову, и когда он сказал, что женился шесть раз, пропустила это мимо ушей — в конце концов, какой дурак будет этим хвастаться? Наверное, приврал в порыве вдохновения. На одной он был женат всего месяц, на другой — два дня. Мы составили список. Список мы послали в архив. Но об этом потом.

Ещё в детстве у него в душе образовалась дыра, внутренний взрыв, пожирающий свет. В физике граница области гравитации называется горизонтом событий, а её размер — гравитационным радиусом. Я находилась как раз в горизонте событий и всё же в какой-то момент почувствовала, что медленно клонюсь к центру.

ГОРОД МАЯКОВ И ТУМАНОВ

Вскоре он решил на всякий случай сменить замок, чтобы Фэнтези не могла попасть в квартиру, и полдня провозился с дверью. С этого момента я просто мечтала увидеть эту Фэнтези, быть может, даже с ней подружиться. И разумеется, если мы встретим её на улице, я попрошу Энди перед ней извиниться.

- Ты должен написать ей письмо, — сказала я, но Энди взвыл.
- Я ничего никому не должен, тем более этой сумасшедшей!

Теперь мы слонялись по городу, держась за руки, как малые дети. Это было совершенно упоительно. Работа была заброшена к чёрту и навсегда, и в скором времени нам предстояло питаться отбросами и червями, но такой образ жизни доставлял мне настоящее удовольствие. Вытеснив прошлое и будущее, мы упивались безответственностью.

В районе, где мы жили, то есть в самом центре, Сан-Франциско ни сном ни

духом не был похож на город миллионеров. В галереях висел чахлый стимпанк — доморощенный Босх и содом с геморроем! Эта продукция изготавливалась для цифровых нуворишей. Но мне было дано лишь увидеть поверхность. Ядро от меня было скрыто, и город этот казался мне покинутым его недавними жителями в результате неизвестных военных действий.

— О да, это самое унылое место в Америке! — вздыхал Энди, изображая человека, которому наступили на мозоль. — Калифорнию сгубили две вещи: Голливуд и силикон!

Он часами болтал об американских героях, о Нью-Йорке семидесятых и о том, что за ним устроена слежка. Понижая или повышая голос, он то произносил названия террористических группировок, то заводил разговоры о жертвоприношениях индейцев и высокомерии белых, о пандемиях, завезённых на кораблях и погубивших целые народы, о проданных детях и об ужасах рабства.

— Америка — страна религиозных маньяков и экстремистов. Ты знаешь, кто такие квакеры? А пресвитериане? Ты слышала о чёрных евреях?

Во время наших прогулок порой мы останавливались в самых неожиданных местах и начинали раскланиваться с бездомными.

— Я до смерти влюблён. Это моя невеста. Она похожа на мою мать... Мы собираемся уехать в Европу... Мы решили умереть вместе, но собираемся жить вечно!... Она знаменитая писательница. Такая, как мадам Помпадур!

Он гордо представлял меня, берлинскую штучку, к этому моменту уже до полусмерти вымотанную блужданиями, высосанную до костей и высушенную усталостью. Его подземные друзья смотрели на меня с равнодушием обречённых. Я улыбалась, как датская принцесса, и протягивала руку.

— А-а-а-а, Холли Гоулайтли, очень приятно! — Лепра не передаётся тактильным путем!

Днём вверх и вниз по выбеленным солнцем холмам тащились вереницы калек. Вечером, когда по моим венам поднималась чёрная ртуть реальности, по их артериям уже растекалось героиновое сияние. Это были местные святые, которые, днём хорошенько отоспавшись в библиотеках, бросались на иглу с новыми силами. Тогда у автобусных остановок собирались полуголые наркушные чучелицы с обезьяньими попками и, путаясь в чулках, начинали клевать пепельницы. Подъезжал автобус, Энди хмурился, складывался вдвое, как переросток летучей мыши, и мы карабкались внутрь. Пока звук рессор глотал грохот его костей, я с ужасом ловила себя на мысли о вечной любви. Здесь, в автобусе, среди старых грешников он казался мне спасителем человечества, и вокруг его головы загорался бледный огонь. Потом у кого-

нибудь из пассажиров лопался ремень протеза и выстреливал в глаз водителю. Руль дёргался, автобус делал резкий поворот и валился набок, как неуклюжий навозник.

— Это долбаный Дантов Ад! — стонал Энди, выбираясь из-под обломков костей.

— Это ёбанный Детский Сад! — вторила я еле слышно, целуя глазами его лоб.

В голове у него что-то щёлкало. По-видимому, там происходили какие-то интегральные озарения, и глаза его снова обращались вовнутрь. И пока он ментально отсутствовал, мне удавалось рассмотреть ещё нескольких пассажиров, и волосы на моей голове закипали, как пена морская.

И тогда уже победоносно и назидательно Энди выносил свой приговор, который скорее был диагнозом:

— Так жить нельзя! Это Сан-Франциско! Города больше нет! Город умер!

— Он ударил меня! Он ударил меня. Энди, зачем ты меня бьёшь?

Сегодня ночью его мать сидела в его красном писательском кресле, захлёбывалась в слезах. Я не решалась к ней подойти. Зато я видела её совсем близко. У неё были синие от чернил ногти. Ей снова было лет тринадцать, и она была хрупкой девочкой, которая прижимала к груди плюшевого зайца, а ноги её были вдеты в не по размеру большие туфли её матери. Я видела, как она плачет в зайца, выплакивая свою обиду и одиночество, а у меня никаких слёз не было, сколько я их ни выжимала. Но мне хотелось обнять её и сказать, что всё ещё будет хорошо, что он ещё исправится, наш Энди, что это просто временное помешательство и что у него расстроена психика.

Это была страсть строгого режима. Тем не менее я действительно мечтала о том, что однажды утром я проснусь, а рядом со мной мой безумный принц — расколдованный!

Но, пожалуй, надежда — одно из самых отвратительных чувств, которые существуют на свете. Она делает нас слепцами. Надеюсь, мы не слышим голосов. Надежда отбирает силы и разрушает душу.

Софи, вот видишь, он смотрит на меня и плачет от умиления. Он снял на видео мои половецкие пляски под музыку городских дикарей и бесконечно прокручивает это в своём телефоне. Он придумал мне множество новых имён и смотрит на меня не отрываясь.

— Малыш, я обожаю тебя. Я обожаю всё: твой голос, твои движения! Я не разлюблю тебя никогда! Мы одна плоть! Это страсть!

А ещё вот что я скажу тебе, моя дорогая Софи: он бережёт меня от людей и от машин, от еды и от голода, от наркоманов и тех, кто от наркотиков

не зависит. Казалось, гораздо практичней было бы меня убить, засолить в гробу. И закрыть этот гроб на ключ. А ключ выбросить в море. А море — выпить! Понимаешь, Софи?

БИТНИКИ

Впервые я увидела затрёпанную книжку Керуака в руках у пожилых английских водопроводчиков, скитающихся в зимнее время года по дешёвым дорогам Азии в поисках секса. Поэтому я испытывала к нему непреодолимое отвращение, пока не взялась за «Подземных». Но потом я читала и «В дороге».

«Если вы уроните розу в Гудзон у его таинственных истоков в горах Адирондака, подумайте обо всех тех местах, мимо которых она пропутешествует, прежде чем навсегда исчезнуть в море, — подумайте о прекрасной долине Гудзона».

И однажды Энди сказал:

— Я расскажу тебе о Керуаке то, чего ты больше ни от кого не услышишь. Мы поедem в Норд-Бич. Это в центре. Я тебе об этом всё расскажу. Сейчас туда приходят местные аль капоне со своими внуками. Ты увидишь их собственными глазами.

Вечером Норд-Бич, итальянская часть Сан-Франциско, светился огнями туристических ресторанов. Этот район он любил больше всего. Мне была обещана история калифорнийских борделей.

— Раньше, когда в отелях жили моряки, а в борделях — русалки... — начинал великий сказочник...

У него было много друзей, целая невидимая толпа! Зато до меня доносились обрывки телефонных разговоров.

— Тед Морган — французский аристократ... Герберт Ханки... Outlaw... Папа Гинзберга был профессором... Ханки привёл Кинзи куда надо. Тогда кислота была уже не в моде. Они ездили с Grateful Dead... Он был неопасным. Он был геем, мог привести тебя в андерграунд. В тёмные места. Когда его нашли, он уже остыл. В дорогом костюме, застёгнутый под самые помидоры, он сидел в этом мареве дерьма, и его последняя воля была записана карандашом на полях местной газеты... У меня только одна просьба: принесите мне в тюрьму черничный пирог!

Эти разговоры доводили меня до умопомрачения. Энди умело сыпал именами, превращался в рок-сатаниста, углублялся в историю сект, говорил голосами лидеров чёрных движений, и я погружалась в безумный поток

сновидений.

И опять звонил телефон.

— Я смертельно влюблён! Это навсегда! Со мной ещё никогда в жизни такого не происходило! Мы едем в Европу! Это любовь!

Наговорившись за день с неистовством проповедника, к вечеру он хлопался на матрас, а когда он падал, а падал он, потому что ноги у него не сгибались, я слышала грохот — бёдра и голени в двойной аранжировке. Это был тот самый специфический звук, с которым большие собаки складываются под стол: гремели кости. А ночью я просыпалась от запаха хлорки, который испускала сомнительная простыня из Армии Спасения.

Вскоре у меня расстроилась поджелудочная и расцвела язва, а главное — меня мучили газы и поверх поноса установился стойкий запор. Уже через несколько недель после моего появления в Сан-Франциско меня тошнило от калейдоскопа людей, биографий и смертей, густо приправленных любовью. Карлики, художники, жертвы далёких и недавних войн, изобретатели преступлений, люди с гениталиями на затылке, татуированные задницы, животные-трансвеститы, изобретатели силиконовых мошонок для кастрированных лабрадоров — всего этого было слишком много! Он не мог остановиться ни на секунду и был великолепным рассказчиком, таким же страстным, каких я знала только в России. С тех пор как я поселилась в Берлине, я не встречала никого, кто мог бы так воспарять в своих фантазиях. Ведь немцы врать не умеют, а хороший рассказчик должен освободить себя от пут истины!

Зато в устах Энди даже правда превращалась в пёстрое подобие вранья. Неужели он использует любую возможность для того, чтобы перетянуть меня в свой электорат? Но я уже давно была на его стороне. В эти дни моё сознание работало как мясорубка, перегреваясь и раскаляясь. Он сыпал названиями улиц и книг, пройдох и поэтов. Слова вываливались мусорной колбасой в мой мозг, затопляя всё вокруг недоработанным фаршем. Казалось, сердце бьётся в ушах и уши схлопываются в сердце. Это было головокружительно! Это было невообразимо! Это было здорово, как пляски на раскалённой сковородке. Всё рукоплескало, как бабочки в кошмаре!

Несмотря на то что в мире Энди не было ни Всемирной сети, ни криптовалют, ни отелей на Луне, ни геопозэтики, ни сетевого шпионажа, радикализма и мистики, мы болтали о свободе, о секуляризации и о футуризме, часами говорили про авангард и никогда не останавливались, бесконечно долго поднимаясь или опускаясь по крутым улицам, топча уснувший вулкан и глотая виноградины ценой в целую вечность. Я учила его инфантильному сопротивлению:

— Давай ходить по улице с приспущенными штанами, как это делают чёрные подростки в Нью-Йорке. Давай кричать под мостами. Здесь есть мосты? Пойдём в порт и что-нибудь натворим!

— Но все будут на нас смотреть! — смутился Энди, на которого и так все смотрели, потому что выглядел он как настоящее чучело, король мертвецов.

А потом я рассказала ему великий секрет современности:

— Ты знаешь, что играет центральную роль в современном искусстве? Испражнения! Метафоре противопоставляется реальность.

Конечно, Энди, как порядочного человека, всё это возмутило и даже задело, и мне пришлось объяснять, что реальность — это тоже метафора. Он выслушивал меня очень внимательно, и мы были одним целым.

Даже в своей чудовищной неправдоподобности Энди казался мне настоящим, поскольку и сам начинал немедленно верить в то, что рождалось у него в голове. Как-то он рассказал мне о какой-то журналистке, которая лет сто назад хотела родить ему ребёнка: «Мой нерождённый ребенок. Нерождённый Мессия!» Другая его пассия любила притворяться в постели пятилетней девочкой. Упиваясь гротескными нагромождениями своих рассказней, он то стонал, то мрачнел, и когда какая-нибудь история принимала угрожающий, чудовищный оборот и настроение грозило упасть ниже нуля, внезапно, будто в горах прорывало лавину, он закатывался хохотом, увлекая меня в безудержный водоворот детского веселья.

Как-то, напустив на себя надутый байроновский вид, он протянул мне какой-то журналчик с поэмой «Самый печальный человек на Земле», посвящённой одной из его многочисленных дам сердца. Неужели он был самым печальным и самым трагическим из всех романтических героев? Неужели, как он утверждал, его никто и никогда не любил?

— Со мной связывались только потому, что я поэт!

Да, да, тысяча чертей, он был поэт! Всё, что попадало к нему на язык, немедленно превращалось в поэму, и я задавала себе вопрос, где заканчивается жизнь и начинается сомнение, где сомнение это превращается в литературу и в каких горьких обстоятельствах литература эта становится экзистенциальной угрозой.

Вскоре пришло сообщение, что в Швейцарии наконец вышел роман его друга, посвящённый его беспутной и яркой жизни.

— А в конце я гибну от рук террористов!

И у Энди наступило маниакальное состояние.

ШЕЙЛА ИЗ ГОЛЛИВУДА

Теперь я знала, что он мечтал занять место Керуака, превратиться в героя комикса, мечтал о том, чтобы его размножили в медиа, мультиплицировали в интернете и в книгах, в кино и чтобы его лицо знал каждый подросток. И сейчас мне было впору писать его безумное евангелие. Для осуществления своих амбициозных планов Энди создал себе образчик для поклонения. Это был активист шестидесятых Эбби Хофман, написавший известное руководство по выживанию без гроша в кармане и библию аутсайдера «Сопри эту книгу». Я сама читала её взахлёб, ведь это было самое радикальное сочинение на тему «Анархия — мать анархии».

Но самым замечательным из его пристрастий были тёмные книжные лавочки — пещеры с нагромождениями задрипанных букинистических комиксов и развалами палп-фикшн. Здесь от него начинало фонить каким-то нездоровым подростковым огнём, и он проваливался в детство, полностью вытесняя из сознания меня, город, мир с его трагедиями и современную Америку.

Про женскую половину человечества он знал по брошюркам «Тела в огне», «Динамит в постели», «Дамы, куколки, преступницы» (Dames, Dolls & Delinquents), «Рождённые для порока», «Голая щёлка» или «Дочери сатаны».

Был ли это сексизм? Литература, на которой он вырос, пестрела историями о мужской силе и о стариках, пострадавших от юных дев. В своё время в Америке даже появился особый литературный персонаж — профессор, соблазняющий молоденькую студентку, и благодаря этому во многие языки вошло слово «кампус». Зато после погружения в мир дешёвых сексистских тетрадок я чувствовала себя как первые суфражистки.

Как-то, накупив очередного барахла в Армии Спасения (чашки-вилки-полотенца), мы зашли в один из тех самых его любимых букинистов, и Энди заурчал от удовольствия.

— Смотри. Это тебе не метёлки-активистки из Беркли и Стэнфорда.

Старая бумага крошилась в руках, выбирала из пальцев влагу. Из груды журналов он выудил один и сунул мне в руку.

— Когда я был подростком, я воровал у отца мелочь, чтобы покупать такие журналы.

С обложки мне широко улыбалась роскошная блондинка, восседающая на большом чёрном мотоцикле.

— Вылитая Шейла. Точная её копия! Я уже рассказывал тебе про Шейлу?

На следующей страничке блондинка примеряла перед зеркалом терновый венец, и Энди воодушевился ещё больше.

— Она привезла меня в Сан-Франциско. Сама она сидела на игле и посадила меня на крэк. Здесь было тепло, можно было достать всё что угодно, от ЛСД до любых колёс. К тому же она барыжничала и я мог прекрасно жить за её счёт. Эта Шейла манипулировала тремя мужиками, соблазняла амфетаминовых миллионеров и воровала картины в частных музеях!

Благодаря Шейле Фэнтези была позабыта на целый вечер. Пока мы шли домой, Энди хвастался, что она угнала Харлей с широким седлом для толстожопых американских полицейских и мечтала улететь на нём в Голливуд.

— И что?

— И как-то утром она исчезла. Упорхнула, как птичка. И даже не предупредила.

Когда мы вернулись домой, Энди тщательно закрыл за собой дверь, на всякий случай ещё раз заглянув в глазок, и сказал, что всё чисто и что Фэнтези, должно быть, о нас позабыла.

МЕНЯ ЗОВУТ ЭНДИ

— Не вскакивай! Не ходи на кухню! Не вставай! Смотри мне в глаза!

Я сижу, как в детском саду, как в детском бреду, сложив руки лодочкой. Спину я держу прямо и смотрю ему в глаза. А глаза у него ну просто как у зверя — прекрасные! И он говорит очень обильно и с напором, будто всё время старается меня в чём-то убедить. Но если я хоть на минуту отвожу взгляд, у него не выдерживают нервы.

А сегодня он торжественно провозгласил:

— Мы идём на очень важную встречу!

Оказалось, что всё это время Фэнтези выслеживала его в Анонимных Алкоголиках. Но теперь он организовал какой-то полицейский запрет, по которому она не может подходить к нему ближе, чем на пятьсот метров. Это закон. С этого дня в нашей жизни что-то резко переменялось: путь в Алкоголики был свободен!

Анонимные Алкоголики — это истинная манифестация американской демократии. Здесь богатые и бедные заодно, демократы и консерваторы, неучи и университетские профессора. Это что-то вроде светского клуба, где знакомятся с полезными людьми и снимают девушек. Однажды Энди познакомился там с одним бездельником из клана Кеннеди и даже побывал

у него в Нью-Йорке в Верхнем Ист-Сайде, в гигантской пустующей квартире, в городе, где люди живут друг у друга на голове.

В эти дни я ежедневно водила его на Алкоголиков, как бабушки водят детей в кружок рисования. Вот они идут — сорокалетняя бабушка со своим шестидесятилетним внуком-великаном. Но только в кружке Алкоголиков вместо детей сидели упыри, орки и полуразложившиеся трупы. На заседаниях, где каждый по очереди рассказывал о своих невзгодах, я впадала в ступор и оживлялась только тогда, когда «конферансье», членистоног с наркоманскими фурункулами, объявлял выход Энди. Тогда невидимые прожекторы направлялись на монументальную фигуру моего возлюбленного, и, сидя на сцене с видом скромного простака-дровосека, он представлялся магнетически-доверительным голосом:

— Меня зовут Энди. Я алкоголик.

— Здравствуй, Энди, — откликнулся глухой хор голосов.

Встречи назначались в церковных помещениях или подвалах, пропахших средствами от клопов. Здесь в присутствии пяти полусонных гоблинов с безукоризненным артистизмом Энди разыгрывал главную роль своей жизни. Это была трагическая роль писателя Энди Шварца, который нёс на себе весь груз и совокупность всех человеческих страданий. Попросту говоря, Энди монополизировал Катастрофу, и теперь он был единственным на свете, кто имел право оплакивать погибших. В этом его театре всё было выверено до мельчайших деталей. Он повествовал о своей матери, которая чудом избежала смерти, о её скитаниях и о том, как её непрекращающийся кошмар перешёл к нему, её сыну. С этого момента, повинувшись воле свыше, он превратился в жреца её храма.

Потом шло страстотерпие от алкоголя, который был результатом неуверенности и страха. В результате — женитьба по пьяни и неожиданное рождение ребёнка (рождение музыки из духа трагедии).

Одна вполне космогоническая история всё ещё стоит у меня в ушах, будто было это вчера.

В восьмидесятые, когда Нью-Йорк был центром вселенной, он жил в компании божественной молодёжи: толпы незнакомцев, девушки, звон бутылок. Если кто-то проходил по тёмному коридору, под ногами лопались шприцы. Вскоре хозяин квартиры сам поджёг дом, чтобы получить деньги по страховке. Энди был выброшен на улицу. К этому моменту его родители уже покинули Бронкс и переехали в Майами. Ни мать, ни отец с ним не разговаривали, ведь он был уже законченным алкоголиком. А потом они и вовсе лишили его наследства — бетонной конуры под носом у флоридских крокодилов.

В результате, раскинув лапы, он сползал по мокрой скамейке в парке,

чтобы треснуться головой об асфальт. И почему она уже тогда не разлетелась, как яичная скорлупа?

— Несколько лет я валялся среди сигаретных бычков и заразных плевков! — стонал Энди, и глаза его загорались героическим огнём.

Томпкинс-Сквер-парк — один из немногих зелёных уголков на острове Манхэттен. Там гуляют люди с детьми и с собаками. В те времена обитатели парка стреляли голубей из рогаток и жарили их на кострах, в клумбах были вырыты траншеи, а в землянках жили бедные пуэрто-риканские эмигранты и местная наркота.

Как-то он опохмелялся в этом парке с одним старым, умирающим от рака поэтом. Шёл дождь, кусты отяжелели от роз, благоухание которых соперничало с едким запахом мочи, а под ногами бегали крысы.

— Я вот что скажу тебе, мой дорогой Энди! — вздохнул знаменитый собутыльник, положив тяжёлую руку ему на плечо. — Я обречён, у меня рак! Но у тебя ещё всё впереди! Ты талантлив, как чёрт, я бы даже сказал, ты талантлив, как Уитмен! Тебя ожидает великое будущее!

А потом ещё он сказал:

— Тебе не место в этом тусклом парке, среди крыс и умирающих! Ты должен прекратить пить! И не ради себя. Ты должен сделать это ради других!

После неизменно успешных выступлений на подмостках Алкоголиков мы опять пили кофе. В кофейнях густо пахло ванилью. От кофеина меня снова и снова тошнило. Конечно, меня никто не заставлял пить этот духоподъёмный напиток, но после сидения взаперти и прослушивания душераздирающих историй я всегда находилась в подавленном состоянии. Зато после приёма кофеина в лошадиных дозах у меня радостно тряслись руки.

ПОЛЛОК

Конечно, я интересовалась американским искусством. Хотелось нагнать то, о чём мы ни в России, ни в Европе никогда не знали. И как-то Энди притащил из библиотеки фильм о Поллоке.

— Видишь, Бубуш, эта жирная свинья — великий искусствовед Клемент Гринберг. Он был женат на молодой женщине, как и я. Великие люди женятся на молодых женщинах!

В этот день отопление громко свистело.

— Слушай, я терпеть не могу этого твоего Поллока. Его холсты кишат

красными червяками, — призналась я в середине фильма.

— Как? Это же великий американский художник! — голос его дрожал.

Джексон Поллок в гнев крушил всё, что попадалось ему на пути....

— Твой Поллок — дутая фигура. Он всего лишь продукт Пентагона.

Если бы он мог, он немедленно размозжил бы мне череп и растоптал бы мой бледный мозг. А меня несло всё дальше и дальше, как маньяка, как оглашенного, как бесноватого, как...

Окно было разбито.

— Ты видишь, до чего ты меня довела! Ты разрушаешь наши отношения! Ещё пять минут назад мы мирно смотрели прекрасное кино, то есть я показывал тебе этот грёбаный фильм. Ради тебя я взял его в библиотеке! Я его уже видел пять раз! Я умирал тут от скуки. Я просто изнывал! Я трачу тут своё драгоценное время, а ты...

КРАСНЫЕ ЗАНАВЕСКИ

— Где твоя помада? Почему ты не можешь найти свою помаду? Где ты красила губы? Для кого? Кто этот человек?

Когда от напряжения подбородок его становился похожим на камень, я замирала в ожидании грозы, и тут он мог неожиданно сгрести меня в охапку, крепко-накрепко обнять и промурлыкать мне в ухо:

— Какая же ты, Бубуш, я не могу без тебя жить!

И не успевала я перевести дух, как опять падал невидимый движок, нарушалось хрупкое равновесие и глаза его наливались чернотой.

— Зачем ты надела эти блядские серьги? Ты смотришь на витрины магазинов, потому что в тебе играют гормоны! Когда женщины прихорашиваются — это первый признак того, что их несёт.

В такие минуты, причитая, что я брошу его, он валился на матрас и начинал кататься по нему, как каскадёр, объятый огнём. При одном взгляде на это трагическое действо у меня начинались болезненные приступы внутреннего смеха. Но затушить пожар было невозможно — боль рождалась у него в сердце и текла напрямик в голову, вытекая изо рта, в виде эктоплазмы, будто в него вошла чужая душа, которая никак не может ужиться с хозяйской. Может быть, это была душа одного из погибших в Катастрофе? Во всяком случае, от него фонило тьмой, как в истории человека, одержимого бесами, и я не знала, что делать. Беда заключалась в том, что я любила его таким, каким он был.

В Сан-Франциско сутки тянутся около тридцати семи часов. Это нормальное состояние дел. Я целыми днями валяюсь на матрасе и читаю. Фэнтези одержима злыми духами, а её поведение — это изощрённая форма эмоционального насилия!

Чтобы отвлечься от беспрестанного чтения, я обнимаю метлу, потом, впиваясь глазами в облупленный пол, я иду в ванную и пускаю струю горячей воды на оцепеневшие руки.

— Малыш, что ты там делаешь? Где твой мобильник? — голосит Энди из комнаты.

Я вздрагиваю, наскоро вытираю руки о подол и очумело бросаюсь туда, где сидит самая большая любовь моей жизни в своём красном инквизиторском кресле.

— С кем ты там переписывалась, Бубуш?

— С архангелом Гавриилом.

Он пристально смотрит мне в глаза, будто молчаливо вопрошая, не сделала ли я чего-нибудь мне не положенного.

Потом гаснет солнце, красные занавески задёргиваются, чтобы не пропустить тьму, и я попадаю в тёплый любовный кокон. Теперь я чувствую, что тьма здесь, где-то рядом: источник её находился в этой комнате. Тьма? Мать? Мать-тьма!

— Энди, дорогой, чтоб ты сдох! Ты сводишь меня с ума. Ты должен повзрослеть... тебе уже шестьдесят. Скоро ты превратишься в своего никчёмного отца. Ты должен слушать свою маму. Теперь, когда я умерла, меня зовут Тьма.

А может быть, я ищу зло, его центр, источник, ключ?

Поначалу я искала его в районе ржавой батареи, которая время от времени пускала паровозные гудки и стремилась куда-то умчаться. Но за батареей зла не было. Не было его и за раскалённой трубой. Зато в коллекторе щёлкали какие-то подвижки, что-то начинало скрежетать и перекатываться в поршнях, и в комнате мгновенно становилось невыносимо душно.

— Бубуш, ради всего святого, не открывай окна! Если сюда налетят мушки, они сожрут одеяло! — вопил Энди, как только рука моя тянулась к окну.

К утру, когда под батарею натекала вода и чугунную гармошку окутывало паром, в памяти невольно возникали картины европейских городов эпохи ранней индустриализации. Ничего подобного до сих пор я не встречала, потому что в Берлине батареи были бездушными и не выпускали пар. Зато здесь, в стране великого новатора Илона Маска, царила неолитическая механика. Вкупе с красными занавесками и с чёрной, похожей на камзолы одеждой хозяина квартиры всё превращалось в ретрофутураму. Уже тогда мне казалось, что не хватает лишь света газовых фонарей.

Поскольку мне было дозволено служить безмолвным объектом поклонения

вроде деревянного божка и пассивным ухом, через какое-то время я ощутила горькие последствия своего положения. В течение нескольких недель мне было запрещено пользоваться мобильником (он был отобран), а мой фейсбук был вырублен и на него была наложена печать безбрачия. Теперь мир ссыхался на мне, как детское платье. Заключённая в решётке улиц незнакомого мне города, я думала о том, что было бы неплохо оказаться в одиночестве или с другими представителями человеческого рода хотя бы на пять минут. Но это была задача не из лёгких.

Если мне удавалось выбраться в магазин, он следовал за мной по пятам, прячась в выступах домов. Если я меняла маршрут, он мог обежать вокруг целого блока, чтобы как ни в чём не бывало появиться из-за угла. Или просто догонял меня семимильными шагами.

— Ты куда?

Во время допроса мне следовало объяснить, почему я избрала такой опасный маршрут и не взяла ли я с собой паспорт. Правило было такое: говорить подробно и обстоятельно, спокойным голосом, будто перед тобой находится представитель закона, бульдог с защёлкой на черепе.

Со временем я научилась чувствовать его спиной. В те редкие дни, когда я выходила и меня не сопровождала эта огромная тень, меня разрывало от свободы. Тогда я опять узнавала и улицы, и деревья, и ветер!

На свободе было хорошо. Хорошо дымилось солнце Какофонии, и я смело перешагивала через тела отлетевших амфетаминщиков, которыми был густо выложен путь в рай. Тогда я вспоминала, что город этот омывает огромный океан. Но где был этот океан? Видела ли я рыб? Где морская свинья, акулы? Где все эти прелести?

Вскоре я перестала чистить зубы и больше не расчёсывалась. В волосах у меня завелись пауки пыли. Я редко мылась и спала в шерстяном свитере.

Он спал в джинсах. Всё чаще забывая, что под ногами находится священное ложе, он сокращал себе путь к окну, ступая бутсами на подушку. Это меня странным образом гипнотизировало, как восхищает непосредственное поведение детей и диких животных.

Наблюдая всё это с восторгом и страхом, я понимала, что рот мой зашит немотой, видела его постепенное физическое разложение, ветхость кожи, сеть морщин, бледность, бескровие и тлен. И всё же он был красив как бог, как сам Аполлон! Ах, Энди, придурок ты старый, всё, что ты рассказываешь, зажигается искрами, фейерверком!

А что, если с ним что-то случится? Я просто умру от горя! Однажды мне придётся закрыть его тяжёлые веки. Тело его будет лежать посреди комнаты, как тело патриарха, старое и грязное, и с каждым часом я всё больше буду

ощущать запах гниения. А потом?

А потом, когда он остынет, я обниму его и не смогу сдержать слёз. Я буду пить ноздрями опьяняющую вонь разложения, испытывая что-то вроде оргазма и сосредоточенно думая о бактериях, превращающих нас в тлен. Конечно, я буду сотрясаться от рыданий, всё больше и больше осознавая, что произошло что-то непоправимое. Ему понадобится огромный саркофаг! Его нужно будет разрезать циркулярной пилой!

Энди стремительно входит в комнату. Он мог бы въехать в неё на белой лошади, как на какой-нибудь картине Учелло, или на боевом слоне! В руках у него мой айпэд, и у него такое неподкупное лицо, будто он собирается разоблачить самого подлого негодяя.

— Я видел все твои письма и просмотрел все твои фотографии. Я не ошибался. Я знал! Ты исчадие ада! Ты оставишь меня одного! Я знаю, рано или поздно я буду бродить, одинокий и потерянный, по Нью-Йорку или по Берлину, где я не знаю ни одного человека! Ты скажешь мне: «Я устала от тебя, я тебя ненавижу! Я нашла себе молодого любовника!» И тогда я не выдержу, я покончу с собой. Из-за тебя я потеряю Энди! Ты отнимешь у него веру в себя, ты кастрируешь его как мужчину и как писателя. Мы должны завершить наши мучительные отношения! Надо с этим покончить!

Разумеется, я бросаюсь на колени, ползаю за ним по полу, как змея, и целую его руки. Он трясёт моим мобильником.

— Кто такой Антон? Кто такой Вальтер? Кто такой Томас? Кто такой Женя? Кто такой Саша?

— Женя и Саша — это девушки. Аллерголог Ева Вальтер и терапевт Анна Томас — женщины-врачи из Берлина, — сочиняю я на ходу.

Я заикаюсь. Я поджимаю хвост. Он стирает всё содержимое моего телефона и зашвыривает его в угол комнаты. Экран треснул пополам.

— Правильно! — Это говорит его мать, которая неожиданно оказалась в комнате.

Она стоит у окна с красными занавесками и держит в руке погасшую сигарету. У неё под глазами тёмные круги, и вообще, она выглядит так, будто провела бессонную ночь.

— Ты должен держать её в чёрном теле. Ничего ей не спускай, иначе она начнёт наступать тебе на пятки!

Я ухожу в туалет, запираюсь там и отчаянно слушаю журчание воды. Скорее всего, это джунгли. Я стою в глубине чащи. Всё мирское и человеческое давно позади. Из-за деревьев я вижу кончик тигриного хвоста. Мне становится восхитительно страшно! По стволам текут гигантские термиты. В чашах огромных

цветов сидят золотые жуки. Вдруг откуда ни возьмись появляется самка павлина. Под ногами у неё лопаются мелкие листья. Вскоре к ней выходит самец. Он великолепен! Он распускает хвост. На меня смотрят тысячи глаз!

КЛАДБИЩЕ РОЯЛЕЙ

Вскоре в нашей квартире был использован весь кислород и у меня в носу образовались кровавые корки. В последующие дни мы опять препирались по поводу «жарко-нежарко», «бактерии», «слизистая». Никаких лекарств, кроме чеснока, у него не было. Не было их и в целом забубённом городе Сан-Франциско. И когда я попробовала завинтить вентиль батареи, меня обожгло раскалённым паром. Теперь пыль плясала в тропическом мареве и я то и дело носилась в ванную вымывать кровь из носа и отковыривать проклятые корки. Зато Энди был в ударе.

— Бубуш, я отведу тебя в ресторан! Это лучшая еда в Сан-Франциско! Там готовят божественные гамбургеры!

Предлагать европейцу гамбургер было высшей степенью наивности. В гробу мы видали эти гамбургеры! И всё же это был просвет.

Итак, мы шли в ресторан. Его мать плелась за нами поодаль, и я то и дело спотыкалась от желания рассказать ей, что рестораны я ненавижу всеми своими печёнками.

— Ты понимаешь, Софи, в ресторанах обычно темно и совершенно невкусно! Там сидят чужие люди и жуют своими челюстями. Обычно я слышу, как они жуют. Они говорят глупости, и это происходит рядом со мной. Меня это раздражает. Кроме того, самый лучший ресторан в городе нашему Энди не по карману!

И только когда по дороге мы остановились перед ангаром с музыкальными инструментами, мне стало ясно, зачем мы идём в ресторан. В огромном помещении бесконечными рядами стояли рояли. В роялях я всегда усматривала нечто похоронное, а тут их было целое горемычное кладбище. И Энди стал рыскать, как собака, которая что-то вынюхивает.

Вскоре к нам вышел зализанный продавец в белых перчатках и принялся распинаться о качестве инструментов, заливать о резонансных щитах, тембре и всякой прочей адовой ерунде. И только убедившись в том, что мы обычные прохвосты, оставил нас наконец в покое. Но как только он ушёл, глаза Энди подёрнулись каким-то волшебным маревом и он принялся зачарованно гладить пальцами деревянные клавиши. Только чёрные почему-то! Вероятно, ему

хотелось продемонстрировать свою любовь к музыке.

Порой мне бывает достаточно услышать несколько неверных аккордов, чтобы день был убит. От музыки я невероятно перевозбуждаюсь. Особенно в тишине звуки начинают разлагаться на составные или разрастаться в голове так, что могут лопнуть невидимые глазу ушные перепонки. И когда Энди начал играть, давя на педаль, как в цыганском театре, у меня затряслись руки, а из носа натекло целое море крови. И чтобы не пачкать кровью всё вокруг, мне оставалось схватить какую-то гитару и капать внутрь.

В ресторане было, как я и предполагала, темно, и Энди кротко спросил:

— Зачем ты кокетничала с продавцом роялей?

УРАГАН

В середине декабря к городу подошёл ураган.

— Когда в Калифорнии ураганы, деревья вырывает с корнем, гибнут люди, переворачиваются машины, сносит крыши и по городу летают металлические листы. Они разрезают людей надвое. В прошлом году мой сосед нашёл в парке отсечённую ногу. Зато мы спрячемся и будем вдвоём, только вдвоём, и никого больше. Мы будем пить чай с шарлоткой. Такой пирог пекла моя мама. От урагана нас защитит только чай и любовь!

В эти дни небо заметно потемнело, мы обпились чая чуть ли не до воспаления мочевого пузыря. Ветер трепал кровли, а в магазинах стояли длинные очереди. Утро следующего дня началось с дождя. Больничный бетон за окном потемнел и набряк. Но понять, что действительно происходит снаружи и есть ли на улице ветер, отсюда было невозможно, тем более что уже с утра я скрывалась в туалете.

— Вот послушай, Бубуш, что они пишут! — воодушевлённо гремел Энди, поминутно заглядывая в новости. — Три человека погибли из-за внезапного наводнения на дорогах! Шторм унёс жизнь сорокалетней женщины и её семимесячного сына! На них упало дерево! Пожилой мужчина был убит током, когда он пытался подключить генератор! Ещё одна жертва — восьмидесятилетний мужчина, который утонул в машине, когда пытался пересечь мост!

Несмотря на то что на улице Буш и в округе не росло ни одного деревца, которое могло бы свалиться на голову, опасность была очевидной, потому что уже в полдень он появился в дверях моего туалетного убежища с пылающими глазами.

— Госпитализировали ещё несколько человек!

Ветер гонит листья по чёрному, отлакированному дождём тротуару, превращая их в мышей. Когда они взлетают вверх, они снова становятся листьями. Наши маршруты просты. Поначалу это Анонимные Алкоголики, магазин, издательство, которое опубликовало его книгу и куда нельзя ходить на «пати», потому что придут мужчины, которых я начну соблазнять с места в карьер. Ещё мы бродим туда-сюда по улице Буш. Здесь есть великое множество разнообразных кафе (целых два), из которых можно для развлечения стырить туалетную бумагу. В одном из кафе я делаю его фотографию, на которой он, скрестив на груди руки, прислонился к грифельной доске, где написано воскресное меню. Есть пирс номер тридцать девять, знаменитый тем, что там можно поглазеть на тюленей, которых я уж точно не буду соблазнять.

Мои приступы уныния становятся всё более затяжными. Вокруг нас кишит толпа безмолвных теней, а у подъезда дежурит Фэнтези с ядерными боеголовками в несессере.

— Бубуш, давай заниматься любовью!

У меня перед глазами плывёт яичница, начались панические атаки. Я боюсь одиночества, боюсь будущего, пугаюсь деревьев и урагана, который может отрезать мне голову, боюсь ИГИЛ, бактерий и чёрт знает чего. Я проваливаюсь в него, как в морскую пучину, забываю собственное имя, язык и место действия. И каждое новое утро обрушивается на меня смертельной рутинной, всасывая в гнетущую пустоту, прожорливую и ненасытную.

После урагана в Сан-Франциско было безветренно и тепло. Мы шли на собрание Алкоголиков по зелёным улицам с прекрасными виллами, и Энди вновь светился как лампочка.

— Ты самая красивая Бубуш во Вселенной! И откуда такие берутся? Я не могу поверить в то, что ты существуешь.

Любовь была выпуклой. Это была почти смертельная доза Энди, а я была его верным домашним животным. Мы ходили в обнимочку и болтали, а я учила его детским глупостям.

— Зачем ты засунула руку ко мне в штаны?

Проходим это было совсем незаметно, а я могла щекотать его анус и даже вставлять туда палец. Это была наша великая тайна. Потом я этот палец нюхала и давала понюхать ему, и мы хохотали, как малые дети. Мы были счастливы. Зато, когда мы приходили домой и я погружалась в книгу, он начинал беспокоиться, бегать по стенкам, жевать потолок. Ведь я погружалась не в него, а в книгу!

Чтобы он прекратил мучить меня, я взялась за его сочинения. Ему это понравилось. Я читала их медленно и со словарем. Сочинения эти были

о любовницах, о жёнах, о сексе и о невозможности любви.

— Они были инопланетянками, эти женщины, а от их прикосновений внутри у меня замерзало сердце. А главное — меня выворачивало от скуки!

— А Роуз?

— Нет, я любил её только первые две недели. Роуз была слишком буржуазной. Я тогда отвоевал её у мужа. Но я не выдержал. А она так меня любила.

Он знал, как писать любовные письма, смотреть в глаза, держать за руки. Он знал, как идти шаг в шаг, прикасаться, просыпаться и засыпать вместе. Прекрасно отработанная программа. А я? Это моё невероятное приключение, замешанное на безумии. Это было как алкоголь!

Наконец мне было позволено позвонить своему психу-дяде, которого не видела лет двадцать.

— Я поссорился с Вуйкой, — сказал он, услышав, что я в городе, и подтвердив свою репутацию психа. Ведь именно это прозвучало вместо приветствия.

— С кем?

— Ву. Моя китайская подружка. Молодая, семидесятилетняя. Почти девочка. Ха-ха-ха! Она при мне сожрала таракана, который вылез из раковины. У них в Сычуани целые фермы таких деликатесов. Короче, я её уволил. Я вегетарианец и пацифист!

И только потом мне удалось вставить, что я вряд ли смогу зайти к нему в ближайшие тридцать лет. И я вкратце рассказала про Энди и про ограничения.

— Этот роман для жизни или для литературы? — неожиданно спросил он, отвлѣкшись от своего трипа.

— Для жизни, конечно.

— Слишком уж он неправдоподобный.

ЧЁРТ С РОЖКАМИ

Однажды наступило прекрасное ужасное очередное беспросветное и счастливое утро. Раскрылся театральный занавес нашего жилища, и я обнаружила у себя в изголовье чѣрта с рожками.

— Добро пожаловать в Город Анонимных Алкоголиков. Этот город назвали в честь святого Франциска. Помнишь, как ты хохотала, когда читала его «Цветочки»?

— Я представляла себе фильм, в котором святого Франциска играет Вуди

Аллен.

— Тебе же было весело?

— Франциск умолял своих братьев отлупцевать его за прошлые грехи, а они не смели. Потом он совсем спятил и опустился. За ним следовали толпы. Человеческий крысолов! В сказке о крысолове за ним идут незрелые души. Франциск щебетал, лаял и мычал. За ним устремлялись люди и звери.

— Вот поэтому в его честь и назвали город — здесь живут души, оставшиеся без пастуха. Сан-Франциско — это котёл торчков. Добро пожаловать в ад! — весело говорит мне чёрт с рожками.

Однажды Энди вернул мне мой многострадальный мобильник. Это было великим вознаграждением, признаком доверия. И вскоре по мессенджеру я получила сообщение: «Ну что, как там старик Шварц?»

Стараясь вести себя как ни в чём не бывало, я продолжала поддерживать впечатление нормального хода вещей, но Фэнтези никак не выходила у меня из головы, ведь это письмо было от неё. Сквозь мысли о том, как он поступил с этой девушкой, я слушала его рассуждения о Барни Россете, издателя, фотография которого висела у него на стене и которого поначалу я приняла за его дедушку.

Однажды на улице рядом с госпиталем, который подходил вплотную к дому на Буш, мы увидели сморщенную старуху. Ей было лет тридцать. Её кости тихонько позвякивали при ходьбе, будто к каждому суставу был привязан колокольчик. Она ползла в сторону больничной проходной, и я обратила внимание на то, что на руке у неё был вытатуирован мотылёк. Энди поднял её, как пушинку, и через две минуты мы были в госпитале. Я семенила за ним и размышляла о том, что за прекрасный человек этот Энди! Он помогает немощным и калекам, больным лепрой и даже старым и больным стриптизёршам, татуированным мотыльками.

Мой дорогой Энди, единственная моя любовь, Дон Кихот Силиконовой долины! Он спустился с высоких олимпийских гор и храбро сражался за гиперборейский народ поэтов, а значит, и за меня. Он написал книгу о военной службе, о жизни в жёлтой пустыне, о смерти жертвенных зверей и о диких воинственных племенах. В армии он умудрился не убить ни одного человека, а я шею курице свернуть готова, если надо. Я готова на это ради высших идеалов! Ради литературы! Ради какой такой литературы? Ради великой европейской литературы, ради великой русской литературы! С мечом в руке я защищала Толстого и Томаса Манна. А на кой мне Томас Манн, когда я люблю Хьюберта Селби?

СОФИ

Софи сидит на крыше нашего дома и расчёсывает свои красивые каштановые кудри, загибая их кверху так, чтобы кончики подпрыгивали на плечах. В руке у неё гребень, тот самый черепаховый гребень, который я нашла у него на кухне. Выражение лица у неё серьёзное и сосредоточенное. Она смотрит вниз, туда, где по улице катятся одиночные машины. Она не знает, где она находится, даже не представляет, что это за город. Она не понимает, как она здесь оказалась, и не может вспомнить, где её мать. Софи кладёт гребень на край крыши, и рядом с ней опускается большая любопытная чайка. Потом птица подталкивает гребень своим клювом так, что он летит вниз. Когда Софи встаёт и подходит ближе, чтобы рассмотреть птицу, чайка даже не пытается улететь и, кажется, внимательно наблюдает за девочкой. Софи находит у выхода на лестницу обрывок картонки, вынимает из кармана карандаш и делает следующую запись: «Меня зовут Софи Кушнер. Я родилась в Париже в 1931 году. Мои родители приехали сюда из Польши, из Катовиц. Им не хотели давать французское гражданство. Сейчас мне четырнадцать лет. Я нахожусь в Италии, в лагере для перемещённых лиц. Сюда привезли множество детей. Ни у кого из них нет родителей. Вы бы только посмотрели на эти лица! Я видела их собственными глазами... я видела там седых детей. У них был особенный взгляд, который я не в силах описать. Эти дети чуть младше меня. Им по десять, одиннадцать лет, и они провели большую часть своей жизни в гетто, в лагерях, в лесах... Когда я думаю о том, что они пережили, мне становится страшно. Как им удалось избежать смерти? Как нам удалось избежать смерти?»

Чайка вырывает у неё из рук запись и взмывает высоко в небо. Она летит всё выше и выше, туда, где находится самое большое скопление памяти...

ХЕЙТ-ЭШБЕРИ

Как-то в очередной раз он на что-то смертельно обиделся, разразился очередной речью, и я уползла в своё убежище. Сидеть в мёртвом оцепенении, обхватив руками голову, было наивысшим блаженством. Я слушала улицу, постукивания собственного сердца, шипение, доносящееся из непостижимой отопительной системы, и приглушённые голоса соседских детей. Здесь было поразительно тихо и приятно, и я начала размышлять о том, как бы сюда окончательно переселиться, а потом заново отправиться в дальнее

и небезопасное плавание.

— Что ты там делаешь? Сколько можно торчать в туалете?

Нехотя оставив лучшее в мире место, я напялила на себя пальто, и мы поехали в туристический район Хейт-Эшбери.

Здесь было чисто, как в прачечной. Нас то и дело приветствовали его друзья.

— Здорово, Энди, как поживаешь? Новая девушка? Всё в порядке?

Мы шли мимо аккуратных игрушечных домиков, мимо мерджинг-дайзинг-барбекю-караоке-хиппи-шопов и, миновав дом с бутафорскими ногами, торчавшими из окна, вышли к виниловому магазину с чёрным диском на фасаде.

— Бубуш, отсюда началось сотворение мира: сексуальная революция, наркотики, пацифизм, музыка, новые религии, протестное движение! В конце пятидесятых здесь творилось что-то невероятное: музыка, ЛСД и тысячи прекрасных мальчиков и девочек!

Его лицо тонуло в чужих воспоминаниях, а я пыталась восстановить прошлое из обрывков виденных фильмов и фотографий.

— Тебя ещё на свете не было, а здесь уже был психоделический рок, кислота, бесплатные лекарни, шаровая еда, секс и шмотьё. Тебе бы понравилось, — продолжал Энди.

На секунду я представила себе, как из цветущих яростью толп, захлёбываясь от восторга, с цветами в грязных волосах, маршируют кудесники, прорицатели, социальные халявщики, тантрические колдуны...

— Бубуш, после фестиваля в Монтерее все плясали на рогах, все были загипнотизированы Дженис Джоплин и Джимми Хендриком! — чуть не рыдал Энди.

А меня уже обступали кришнаиты, инопланетяне из Махараштры, глотатели огня, беспечные ездоки, канадские дровосеки, мексиканские писатели, опешившие республиканцы, злобные пуритане, трясуны, колонизаторы Марса, мир, согласие, радио-телевидение-Вьетнам-фолк-рок и оплёванные гвардейцы.

По правде сказать, в данный момент здесь царил апокалиптическая скука, но Энди летел на своей волне. На фоне парикмахерских салонов и веганских бутиков было ясно, что этот ностальгический мир психоделических радостей уже давно пришёл к своему тошнотворному завершению, и случилось это лет пятьдесят назад.

Мы ещё немного потоптались на каком-то перекрёстке, понаблюдали за процессом счастливого разложения старпёров, и я окончательно уразумела смысл выражения «дети цветов».

После Хейт-Эшбери мы тряслись на трамвае с ощущением, что нам в мозг

основательно насрали душистым туристическим горошком.

Зато, как только мы вернулись в центр, картина резко переменилась и нас обступили зомби! Они были молодые и старые, с белой или тёмной кожей, раскосые, широконосые или бледные, как спирохеты, а у одного из них на руках были коричневые корки.

И тут Энди воспрял духом.

— Бубуш, ты знаешь, что это? Это лимфомы! Это саркома Капоши! Ужасная вещь! От этого довольно быстро и мучительно умирают! Разлагаются заживо! Эта саркома появляется у больных СПИДом! Опухоль развивается быстрее, чем рак! Я всё про это знаю!

Он был прекрасно осведомлён обо всех стадиях человеческого разложения, мой Энди! А меня добила усталость, и мне хотелось заклеить ноздри, сомкнуть уши, не двигаться и ослепнуть. Но мы снова кругами ходили по центру, потому что после возвращения из мира цветов нам требовалась интенсивная терапия.

Здесь, неподалёку от дома, всё было родным и знакомым. На Маркете вдоль стен на тротуарах сидели окаменевшие торчки. Те, кто ещё не отправился в мир иной, терпеливо ожидали своего часа, и ожидание смерти было занятием будничным и даже уютным. Из-за этого весь район казался inferнальным вокзалом. Сейчас объявят твой поезд — и ты последним усилием оторвёшься от мостовой. И пока мимо проносится театр жизни, пассажиры сидят, уставившись в пустоту погасшими глазами, не испытывая ни гнева, ни презрения. И многие были настолько молоды, что вряд ли успели отметить ничтожный факт своего существования.

А у нас в Тендерлойне Энди опять приветствовали все алкоголики и наркоманы нашего района:

— Здорово, Энди, как поживаешь? Новая девушка? Всё в порядке?

Они выползали из глубоких расщелин, быть может даже из канализационных люков — чёрные, белые, одноглазые, колченогие и бестелесные, как в фильме Тода Браунинга.

Потом пошёл дождь, и Энди вытащил из урны почти целый зонтик кремового цвета, сообщив, что в городе всегда можно поживиться предметами первой необходимости.

— Это Бубуш, моя невеста. — сказал он бомжам.

А у меня усталость как рукой сняло, и я гордилась тем, что у моего Энди такой высокий рейтинг. И, пока мы шли домой, я размышляла о том, что он ведёт людей вперёд, как Лафайет или Гарибальди, Мать Тереза и Аби Цви.

Дома было уютно, и перед сном мой возлюбленный читал мне самые важные и душераздирающие новости:

— Вот послушай, Бубуш, что происходит в твоих любимых экзотических

странах: «В Ираке было выявлено более двухсот массовых захоронений. Среди обнаруженных тел были найдены военнослужащие вооружённых сил Ирака, сотрудники полиции, а также мирные жители — женщины, дети, инвалиды и старики. Предполагается, что все найденные погибли от рук террористов ИГИЛ, которые контролировали регион, где было найдено захоронение, в период с июня по декабрь две тысячи четырнадцатого года».

ЧУБОВСКИ

Чтобы передохнуть от невыносимых туристических впечатлений, в последующие дни я почти всё время проводила на толчке с книгой в руках. У меня было честное оправдание — запоры и поносы. И с целью извлечь меня из моего убежища Энди пообещал, что мы поедем в гости к одному старому говнюку, к поэту и страстному любителю джаза. Оказалось, что Чубовски был его старым другом. И, поскольку меня просто глючило от любопытства поглазеть на его настоящих друзей, конечно же, я очень воодушевилась. Это можно было назвать моей психологической победой!

Мы ехали на трамвае (трамваи чистые, а автобусы грязные) в район, который называется Миссия. Энди был перевозбуждён и всю дорогу рассказывал мне про Чубовски.

— Чубовски — старый бездарный бухтило, лузер, который в жизни не написал и двух стоящих строчек.

Оказалось, что семья Чубовски бежала из Польши во время войны, что он жил в Бруклине. Нищета. И вообще, у него было страшное детство. Но это было не главное. Из сонного Бруклина Чубовски убежал в Лос-Анджелес, когда ему было шестнадцать, и там во время какой-то бурной литературной пьянки он встретил Чарльза Буковски.

— Всё ясно: Чубовски подражает Буковски.

— Вообще-то, он гей. Так что это не для тебя. А ещё он битник!

— Пьянство? Разврат?

Под портиком нашего дома на Буш каждый день ночевал пожилой битник. Его одеяло было разорвано. Из них (из битника и из его одеяла) сыпалась вата. В Тендерлойне мы ежедневно наблюдали сидящих на земле битников и битниц с красными разбитыми физиономиями. Около музея, в котором мне так и не посчастливилось побывать, асфальт был буквально выстелен битниками. От них исходила нестерпимая вонь. В библиотеке все те же битники спали прямо

на столах или смотрели порнуху на своих мобилах.

Слушая Энди и тупо глядя по сторонам, я думала о том, как в последний раз я была в Москве. Стояла зима. Снег. Мороз. Савёловский вокзал. Рядом с лавками на земле лежат битники в тулупах. Их согревают городские волкодавы. Многие битники вообще ничего не чувствуют, потому что находятся в отключке, а другие снимают с них трусы, оставляя лежать голышом на снегу. Особенно не везёт женщинам-битницам. Если они находятся в сильном отлёте, их насилуют множество раз все, кто проходят мимо. В основном их штырят сами битники, такие как Керуак и Корсо. Но иногда и простые порядочные прохожие, такие как Хемингуэй.

Весной полиция собирает большие урожаи мёртвых битников, которые сбежали из дому, чтобы жить вольной жизнью. Они напиваются в городской клоаке прямо под тротуаром, потому что там проходят трубы центрального отопления. Но если, не приведи господь, трубы лопаются — а лопаются они всегда, — то битники после пьянок, чтения стихов и исполнения на гитарах песен собственного сочинения замерзают и превращаются в ледяные мумии. Так что с битниками у меня был большой опыт.

Мы уже подъезжали к Миссии, когда женщина, сидевшая напротив, раздвинула ноги, и мой взгляд упал туда, куда смотреть было вовсе не обязательно. Оттуда за мной наблюдал искусственный глаз.

А Энди как ни в чём не бывало продолжал:

— Когда Чубовски было пятнадцать, он бегал за Буковски в надежде, что тот его трахнет и оплодотворит великим талантом. Но Буковски был не по этому делу. Так что Чубовски просто тёрся в его компании. Как только мы придём, засеки время. Не пройдёт и пяти минут, как он сразу же заговорит про Буковски. Только не спрашивай его, почему моего друга так зовут. Это псевдоним — аббревиатура Чарльз Буковски. И не вздумай прикасаться к его заразной собаке. Ещё придёт Крис. Он переводчик с немецкого, тоже гей. У вас много общего. Раньше он жил в Калькутте и издавал там литературный журнал. Ты сможешь побеседовать с ним про Индонезию.

Потом женщина с глазом вышла на своей остановке. И вообще-то, это была не женщина! Мир крошился на невыносимые идентичности. Это был человек четвертого или пятого пола!

Как и обещал Энди, Миссия оказалась другим миром: войлочные бороды, чакки, якки и прочие модные задроты. Мелькали магазины с биологическими добавками, органик фуд и веганские рестораны. Везде висели плакаты с призывами записаться на курсы йоги.

— Они против государственного контроля! Против видеонаблюдения! Против социальных сетей! Против спутников! Против унитазов! — Энди изгалялся на всю катушку.

Чубовски уже ожидал нас в кафе. Он был похож на седую тучку — Винни-Пух лет семидесяти, море перхоти, и у него был пёсик по кличке Мальчик. Второй — Крис, издатель журнала в Калькутте — выглядел лет на двадцать моложе своих ста, аккуратненький, стриженный новобранец. И вообще, оказалось, что журнал в Калькутте был мини-журналом, то есть он был размером со спичечный коробок, и там печатали микроскопическим шрифтом только стихи.

Несмотря на то что Энди прожужжал им все уши про свою страсть, Чубовски и Крис, как и предполагалось, не обратили на меня никакого внимания. И тут с места в карьер Чубовски сказал:

— Я познакомился с Чарльзом Буковски, когда мне было шестнадцать.

Он говорил это так, будто всё это ему ещё предстояло, а Энди поддразнивал его фразами типа: «Буковски тогда в тебе не разобрался! Буковски вытирал о тебя ноги!»

Потом Чубовски начал жаловаться на мексиканского подростка из интернета.

— Я посвятил ему балладу «Человек на вулкане», а он кинул меня! Он обозвал меня грязным геем! Щенок сам напросился ко мне в друзья, написал, что он поклонник моей поэзии, присылал мне свои беспомощные вирши, а я их, как дурак, опубликовал! Мы переписывались целых полгода, я ему всю душу излил, а он меня обхамил!

И тут Энди неожиданно разразился залихватным квакающим смехом.

— Согласись, всю жизнь тебя использовали, игнорировали, смешивали с дерьмом!

Но Чубовски перед лицом трагедии было совершенно всё равно, что говорит Энди. Он продолжал жаловаться и пускать пузыри. А Энди только посмеивался:

— Напиши мемуары под названием «История моих унижений».

— Она разойдётся огромными тиражами, — подпевал ему Крис.

Потом собака Мальчик попыталась трахнуть ногу Энди и он отшвырнул её этой самой вожденной ногой на другой конец кафе, а Чубовски, обозвав его живодёром, вытащил шприц и принялся колоть себе инсулин прямо через шерстяной свитер.

Это был первый день, когда мне было дозволено сидеть за одним столиком с людьми, но расклад был ясен: по одну сторону находились гуманоиды, а по другую — я и маленькая собачка. И она вслед за мной удивлённо глядела на призрачный мир людей.

Потом произошла ещё одна нелепая и смешная сцена. А именно: пока мои спутники вели свои бредовые разговоры, а я телепатически общалась с невротическим пёсиком, нас подслушивал молодой азиат, который, очевидно, уже давно рвался в бой.

— Меня тоже зовут Энди. Это самое прекрасное имя на свете! Все Энди — необыкновенные люди!

И тут Энди распрямил плечи, раздул грудь и вытянулся в струну.

— Я не считаю это имя чем-то особенным!

В этот момент он был похож на памятник, на корабль, одиноко и величественно прогрызающий арктические льды!

И тогда я решила, что раз уж в Сан-Франциско так много битников и прочих знаменитостей, пора взять у кого-нибудь интервью. Может быть, прокатит, ведь нам нужно на что-то жить.

— Может, Ферлингетти?

— Он слишком знаменит. К тому же он мне завидует. Ты не понимаешь, что это за свора. Они игнорировали меня с самого начала.

— Может быть, Джек Хиршман? Ты знаешь его?

— Это мой лучший друг, и я знаю про него всё, но Хиршман пролетает. Он окончательно зазнался, к тому же он сталинист, значит, будет ломать комедию. В общем, он не будет с нами разговаривать.

— Почему?

— Они все тут меня ненавидят.

— За что?

— Потому что я единственный из них, кто не продался истеблишменту. Потому что я единственный, кто не предал старые идеалы! Потому что у меня есть сердце!

Мы перебрали ещё несколько мировых знаменитостей. Оказалось, что он близко дружил с Кэти Акер, которая, умирая, держала его за руку.

— Ах, если бы была жива Кэти Акер! Кэти была такая милая. Умирая, она сказала, что я последняя надежда великой американской культуры. Ты бы могла взять у неё интервью. Целых десять интервью. Но теперь она в лучшем из миров! — И, не в силах выразить то, что он испытывал в этот момент, Энди заплакал.

В результате интервью брать было не у кого. Судя по всему, все старые битники выёбывались или уже умерли. И тогда мой тайный выбор пал именно на Чубовски, только потому, что он, как старая собака, находился под рукой и был одним из тех, с кем мне было позволено разговаривать. Казалось бы, в моей идее сделать с ним интервью не было ничего предосудительного.

Чубовски был старик, гей, добродушный и безобидный. Он жил с филиппинским врачом, приставал к мальчикам из фейсбука и страдал от гипертонии. Мной он никак заинтересоваться не мог.

Три дня я тщательно продумывала, в какой форме я смогу сказать об этом Энди.

— Бейби, как ты можешь? Сжался надо мной! Зачем ты хочешь сделать интервью с этим старым придурком? Зачем это тебе нужно? Чего ты от него хочешь? Чубовски — абсолютная и общепризнанная бездарь. Печать на нём ставить негде! Он тебя никуда не продвинет!

— О чём ты говоришь?

Через пять минут подкопа и выяснений стало очевидно, что интервью я должна взять у самого Энди. И, когда мы торжественно сели за эту работу, над нами уже витало наше хрупкое инфантильное счастье.

У Энди оказались ещё кой-какие друзья, которых он показал мне в сети, потому что живыми они не давались. Там были фузионисты-неоисты, поляроидные фотографии, редакторы блогов, влогов, лайфмагов и зинов с усами и дредами, с золотыми зубами и суперпротезами, было много старых перформансисток, кабаретчиц и прогрессивных герлов, чья нечёсаная седина вызывала у меня приступы тошноты. И все эти люди были, как предметы с блошиного рынка, потемневшие от времени: чайники с отломанными носиками, латунные дверные петли, пластиковые коробочки, назначения которых никто не знал.

И опять сквозь кровавые занавески в квартиру вползало утро. Начинили трезвонить жильцы. Потом мы говорили об ужасах. Непременно об ужасах.

— За мной охотятся братья-террористы, — хмурился Энди и сам начинал этому верить.

На самом деле боевики ИГ вывесили в Сети списки американских военных.

— Да, этот мир придуман отнюдь не для трусов. Меня узнал головорез из пригорода Кабула.

— Ну да, ты же солдат и американский герой.

— Я не герой.

— Для меня герой. Надень берет. Прекрасно выглядишь.

— Если я выйду на улицу в этом берете, меня застрелят.

— Неужели тут стреляют?

— У многих есть оружие. Иногда твои слова гораздо убедительней, если ты разговариваешь с пистолетом в руке.

— С кем ты разговариваешь с пистолетом в руке?

Десятого января в Париже вооружённый террорист напал на еврейский магазин.

— Они могут убить и меня, ты не понимаешь как это серьёзно!

Потом садисты из «Исламского государства» перерезали глотки детям. Энди тоже мог оказаться одним из этих детей.

И когда я без всякой задней мысли рассказала ему о виденном мной диком павлине в индийских джунглях, он взорвался.

— В Пакистане убили американца. Я тоже гражданин Америки! Если мы поедem в твою любимую Азию, меня убьют просто за то, что я американец!

Оказалось, что к нему на страничку в фейсбуке пришли запросы от людей с подозрительными именами. Разумеется, это были убийцы и они охотились именно за ним, чтобы повесить его на первом же сучке.

— Я в аду, — спокойно сказал Энди.

К счастью, в те дни по соседству была найдена часть расчленённого тела, прямо у супермаркета, в пластиковом мусорном мешке. Второй пакет обнаружили у стирального салона. Свёртки с ногами и руками были разбросаны по всей улице, и это было в двух шагах отсюда, а отпиленную голову засунули в картонную коробку с надписью «Томатное пюре — оригинальный мексиканский рецепт» и поставили перед магазином Армии Спасения, в котором мы купили дезинфицированные простыни.

Энди ликовал. Сбывались его предсказания о чудовищном мире. Теперь он взахлёб рассказывал о тех, кто был зарезан в ночлежках, а потом притащил газету и стал вслух зачитывать заметку под названием «Восьмидесятидвухлетний житель приюта для пожилых ветеранов убил своего восьмидесятипятилетнего соседа по комнате».

— Здесь огромное количество клинических случаев. Выйти на улицу — это просто самоубийство! Возьми, например, Фэнтези! Она психопатка и маньяк. То, чем она занимается, — это эмоциональное насилие. В моей жизни это происходило неоднократно. Меня преследовали женщины. Я клянусь! По американскому законодательству преследование — это уголовный проступок, который всё же трудно доказать в суде. И как справиться с такой иррациональной и непредсказуемой негативной энергией? Это чистое извращение!

— Откуда ты знаешь?

— Я проштудировал «Введение в клиническую психиатрию». У нас в районе самое большое в мире скопление бордерлайнеров. Если ты думаешь, что они живут только в притонах, ты ошибаешься. Ты понимаешь, что они могут сделать это с тобой? Они могут изнасиловать тебя среди бела дня, затащить куда подальше, расчленить — и поминай как звали. Именно поэтому я так боюсь,

когда ты выходишь на улицу одна.

— Это кого-то мне очень напоминает.

— Кого?

— Моего сына.

Мне двенадцать лет. Мама вернулась с работы в расстроенных чувствах. Я только что закончила переписывать начисто школьное сочинение на тему «Нравственные проблемы в произведениях Достоевского», зашвырнула тетрадь в портфель и собираюсь бежать во двор, где дочка дворничихи проводит лекцию о менструации для непосвящённых. Мама крепко берёт меня за руку и удерживает за столом. Я вижу её глаза. Она чем-то напугана.

— Я встретила соседку, и та рассказала, что на прошлой неделе убили школьницу. Это произошло всего в нескольких кварталах от нас. Её подстерёг мужчина, заманил в машину, изнасиловал и задушил. А в прошлом месяце мальчика убили молотком по голове. А тебя, не успеешь ты и пикнуть, сунут в грузовик, на нос эфирную маску, увезут в лес, изнасилуют, расчленят, задушат проволокой и закопают. И никто тебя не найдёт!

А Энди? Порой, когда его большое тело лежало на засранном матрасе, я вспоминала Пруста, эпизод, в котором одна из девушек, гуляя по набережной, перескочила через перепуганного старика, чем доставила огромное удовольствие подругам и самому Прусту. Про Пруста я не упоминала. Он его не любил. Зато я про себя повторяла фразу из книги, которая следовала за этой сценой: «Бедный старикашка, мне его жаль — ведь он чуть было не окочурился».

МИР — ГИГАНТСКИЙ БОРДЕЛЬ!

Весь мир — это гигантский бордель, где шлюхи рассортированы по категориям, рангам и доступности. В последнее время я усвоила, что есть шлюхи, которые живут на огромных виллах и обладают большими состояниями, шлюхи, у которых есть собственные вертолёты и замки. Есть шлюхи из Лиги Плюща. Они выискивают себе женихов на пьяных оргиях аппер-класса. Такие заводят детей к сорока пяти с помощью искусственного оплодотворения и заканчивают как матери-одиночки. Обычно их родители — старики, которые много лет назад купили страховку. Таких шлюх называют «дочери страховки». У Энди уже однажды была такая. Она жила в Марине в Сан-Франциско и требовала от него

ребёнка, а он не хотел принимать на себя столь непосильную ношу.

— Они все там такие, эти русалки из Марины, и у них куча денег.

Ещё я узнала, что есть многодетные шлюхи из религиозных семей. Есть и бедные шлюхи, которым приходится работать в школах и в детских садах, чтобы заработать себе на хлеб. Есть политически ангажированные шлюхи. Они часто бывают лесбиянками. На Восточном побережье есть шлюхи, которым принадлежат издательства, газеты и другие медиа. Есть шлюхи из Восточной Европы. Это очень блядские шлюхи. Самые бесстыдные! Это был сумасшедший цирк.

Однажды он назвал меня Валери Соланс и сказал, что женщины превратили мужчин в своих комнатных шавок и что мужчины окончательно унижены и должны пресмыкаться перед женщинами.

— В отличие от европейских ботанов американские мужчины ссут стоя!

— В Америке самые страшные гангстеры!...

— Мы, парни из Бронкса, знаем, как удовлетворить наших женщин!

— Мы обладаем самыми бронебойными пенисами во Вселенной!

Вскоре я наотрез отказалась посещать собрания АА и, уходя в АА, Энди стал запирает меня на верхний и на нижний замки, чтобы меня не убила Фэнтези. Конечно, никакой Фэнтези нет и никогда не было. Фэнтези — это фантом. Картинку он взял из Сети. Он придумал ей имя и всё сочинил. Это он написал мне письмо про Энди Шварца: «Ну что, как там наш похотливый дед?» И все эти сообщения он пишет себе сам!

Теперь мне приходилось часами сидеть в изоляции, и я казалась себе китом, выброшенным в лунный кратер. Тогда мне хотелось бежать, разыскать Энди и крепко-накрепко обнять и даже сжать и уже никогда не отпускать, пока он не обвиснет прямо у меня на руках.

Потом хозяин приходил. Въезжал на седом бегемоте. Его приносило пыльной бурей из горячих песков пустыни Мохаве. Каждый раз, когда он возвращался домой, я вздрагивала. И хотя скрывать мне было нечего, я резко выключала телефон и электронную почту.

— Ты лгунья! — кричал он.

Я защищалась, неловко наворачивая слова на слова и нагромождая глупости.

— Покажи мне свою почту!

И у меня в желудке начинали плясать ножи.

Гнев упирался в тупик, озарял тьмой, и слёзы мне поначалу не давались. Я стала бояться себя, телефонных звонков, а каждое прикосновение

к телефону вызывало у меня что-то вроде ожога.

— Почему ты никому не звонишь?

СЕКРЕТ ВИКТОРИИ

В Европе тогда не было ещё ни одного филиала «Victoria Secret».

— Этот магазин знаменит тем, что его основатель бросился с моста Голден Гейт.

— Неужели!

— Голден Гейт — это одно из трёх мест, охраняемых богом суицида! Два других находятся в Японии — это лес и вулкан.

Итак, вулкан, лес и мост!

Он расписал это заведение так, что мы решили сходить туда на экскурсию. Здесь было темно. Декорации напоминали альковы, на алтарях светилось бельё. Время от времени в стеклянную вертушку входили одинокие мужчины, чтобы в бархатной полутьме полюбоваться на кружевные лифчики. Кажется, это было похоже на сафари — спрятаться в кустах, но ни в кого не стрелять. Энди наклонился к моему уху и стал шептать, что, когда он жил один, он и сам частенько навевывался в эту пещеру.

— Я смотрел, как девушки выбирают себе какие-то штуки, хрени и прибабасы, которые должны заменить трусы.

— Какие прибабасы? — удивилась я.

— Стринги, конечно!

Тогда я не знала, что такое стринги. Оказалось — это трусы без спинки. А ещё я не знала...

— Проклятие нердов! Ты даже не знаешь, что такое пуш-ап! Из какого дикого леса ты вышла? — возмутился Энди.

По дороге домой он с оживлением рассказывал мне про жизнь девушек с накладными ресницами. В отличие от меня он знал про это буквально всё. Он был прекрасно осведомлён про обезьяньи подмышки, длинношёрстные колени, щетинистые лодыжки, пушистые задницы, кудрявые ляжки и хвостатые лобки, которые вошли в моду у продвинутой молодёжи, и объяснил мне, чем отличаются бикини от викини. И уже на подходе к Буш, я впервые услышала выражение *hookers hot pants* — блядские трусики.

Обычно он приходил в «Викторию», когда у него начиналась депрессия, и стоял чёрной тучей в самом заныканном углу, потрясённый блядством этого мира. Как замороженный он смотрел на безумный ассортимент, тлеющий

в красном свете, возмущался, мечтал о репутации сердцееда, плакал от умиления, заметив какую-нибудь застенчивую школьницу с синими косичками, впервые выбирающую себе эти самые стринги, или наблюдал, как старики кладут в корзинку для покупок душистое мыло.

— Секс — это олицетворение великой американской культуры: Бетти Пейдж, ведьмы, суеверия, христианские секты, порнография, тыквенный пирог, пип-шоу и День благодарения! — пояснял он. — Ты ещё узнаешь, что всё это великолепие простирается среди пустыни призраком Route 66 и уходит в короткую, но безумную историю пятидесятых! Эта культура свободы вытекает из незаселённого пространства Америки и одиночества отважных ковбоев!

И наконец он спросил:

— Как ты думаешь? Какого он цвета?

— Секс?

И, не дожидаясь ответа, прорычал:

— Секс декорирован особым образом! Это жёлтые, красные и синие вывески мотелей, неон, рекламные щиты — вот и вся аранжировка.

Потом мы валялись на матрасе, хохотали, препирались и ссорились. А потом мне снились джунгли, где между лианами носились пёстрые попугаи, оглашая воздух резкими звуками, где пятна света блуждали по красной земле, где в кустах возились ящерицы и где у меня из-под ног выползала золотая змея. И вот я услышала пронзительный крик обезьяны, раскачавшей дерево, и лай какой-то птицы.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Чаще всего мы парили в первобытном бульоне, в хаосе, лихорадочно цепляясь за имена и вещи, которые смогли бы стать точкой отсчёта. В этом параноидальном сне всё повторялось, как на конвейере. По ночам отопление снова плевалось кипятком и пускало струи горячего пара. Комната раскалялась, стены покрывались испариной, текли, по ним начинали ползать красные рыбы, полужидкие малиновые дьяволы, и город снаружи тяжело ворочался, как инвалид в раскалённой ванне. Тогда испарялся мозг, расплёскивалась лагуна и в паровозной топке начинал расползаться матрас. Потом приходила то ли его мать, то ли Фэнтези, а с ними — резкий холод.

Если отъехать от Каракаса на изрядное расстояние, можно попасть в джунгли. Лучше поехать туда на грузовике и провести там воскресенье. Можно поехать

и на карибский берег, но без мужского сопровождения это сложно. Да и вообще, кто возьмётся везти туда эмигрантов? Девушка из Парижа работает на текстильной фабрике и живёт в общежитии вместе с другими беженцами из Европы. Лучше возвращаться домой до захода солнца. К тому же здесь ходят слухи об изнасилованиях. На фабрике многие говорят по-польски, по-немецки или на идише, который Софи не понимает. Каракас — относительно большой город, но очень провинциальный, Парижу не чета. Сюда почти не доходят мода и музыка. Здесь есть несколько театров — в основном испанский репертуар, а молодые беженцы из Австрии и Франции не всегда знакомы с реалиями испанской истории.

— Любовь моя, у меня нет сил. Я совершенно измотан нашим ночным разговором. Я чувствую слишком много, слишком интенсивно. В отличие от тебя я не боюсь своих эмоций, но у меня нет сил. Это больше не может так продолжаться. Сегодня ты опять разбила мне день. Мы никуда не пойдём. Ты понимаешь, малыш, что это не моя вина.

Лицо его принимало выражение крайней озабоченности. Он опускался в своё красное кресло и жестом приказывал мне молчать, хотя я и так не произносила ни слова.

— Я медитирую, пожалуйста, выйди из комнаты, — доносилось до меня.

А ведь я уже была далеко! Я знала: он сидит там, прикрывает пальцами свои бархатные глаза и погружается в океан бесконечных страданий. Я шла в кухню, съедала морковку и смотрела в окно на бетонную стену. После медитации он сползал на матрас и просил меня посидеть с ним рядом и поддержать его за руку.

К концу декабря частота его ночных эскапад увеличилась. Все истории, рассказанные днём, он продолжал рассказывать мне по ночам, не давая уснуть. Если у меня закрывались глаза, он обижался и обвинял меня в невнимании. Теперь я не понимала, где кончается человек и начинается болезнь. Я не понимала, где кончается болезнь и начинается игра, и жила на вулкане, будучи ежесекундно готова к его извержению.

— Террористы в Тулузе, джихадисты в Брюсселе, в Париже, в Гамбурге; Иран, «Хизбалла»! Они уже здесь. Мы погибли!

Я крепко прижимала его к себе, а он тяжело дышал и больно хватался за мою руку.

— Можно я сяду работать? — спрашивала я сдавленным голосом, пытаюсь освободиться. Тогда он открывал глаза, и лицо его опять принимало отчаянное и горькое выражение.

— Малыш, ты должна меня пощадить! Почему ты издеваешься надо мной? Почему ты собираешься работать именно в эту секунду? Мы только что были вместе, держали друг друга за руки, и вдруг ни с того ни с сего ты вздумала заняться чем-то посторонним! Это не имеет к нам ни малейшего отношения! Ты же видишь, как я страдаю! Зачем ты добавляешь к моим страданиям всё новые и новые?

Тогда я откладывала всё на неопределённое «потом», устраивалась рядом, и мы вдвоём плыли по какой-то очень медленной и тяжёлой реке.

— Мы потеряли связь с собой, а потому и с другими людьми. Мы потеряли связь с миром. Отчуждение — это вопрос, живём ли мы вообще или только разыгрываем какой-то сценарий, который мы определили ещё в детстве!

Однажды вечером после занятий медитацией Энди заметно повеселел и решил, что нам надо спуститься в ночной киоск. Мы вышли на улицу, и он завис у грязной витрины. На языке у него явно что-то вертелось.

— Много лет назад в этом подвале я встретил удивительного китайского поэта, единственного в своём роде и единственного, писавшего на каком-то редком диалекте. Он много лет прожил в овощной лавке своего брата и умер в прошлом году. Вместе с ним умер и его диалект. Однажды он предложил мне погадать, посмотрел на мою руку и сказал: «Я знаю, что ты особенный человек». И знаешь, что он ещё сказал мне? Ещё он сказал, что я проживу долгую жизнь. Хочешь знать, сколько мне осталось?

Конечно, я хотела, но только не в три часа ночи. Но у Энди дрожал подбородок:

— Нет, я не могу! Если я произнесу эту цифру, то я умру на месте. Понимаешь, малыш? Ты обещаешь мне, что мы будем на вечные веки вместе?

Но в каком, в каком из многочисленных приснившихся нам снов мы должны были быть вместе?

СТАРЫЙ ГОВНЮК

Вскоре у нас двоих осталось ровно столько денег, чтобы мы могли продержаться до начала марта, если «питаться из секонд-хенда» и не шляться по ночным забегаловкам. И в конце месяца мы решили, что проживём здесь до конца зимы, а потом уедем в Берлин, где жизнь была дешевле и интересней.

— Я выручу за этот обезьянник, то есть за эту квартиру, тысяч пятьдесят. Хозяин может пересдать его намного дороже.

— Ого! Значит, откуп? А на что мы будем жить до тех пор?

И тут на горизонте замаячил Старый Говнюк.

— Старый Говнюк неоднократно спасал меня от смерти, Бубуш. Когда я умирал, он был единственным, к кому я мог обратиться. Я люблю этого старика. Это благородная и мудрая душа. Он непременно поможет, что-нибудь придумает. Это поистине верующий человек!

Верующий человек, как и можно было предположить, оказался владельцем сети борделей. Он был ирландским католиком, происходил из white trash, а его жена была всевоплощением Девы Марии. Но, если перевернуть всё наоборот, Богоматерь была замужем за гангстером, а это значило, что фактическим отцом Спасителя должен был быть outlaw! Это было железное распределение ролей.

На встречу к старому Джо мы долго тащились на трамвае. Стоял прекрасный безветренный день, исполненный солнечного милосердия. Но как только мы вышли на нужной остановке, Энди перекосило.

— Не верь ни одному его слову. Старый Говнюк — подлый и гадкий старик. Его жена не отходит от него ни на шаг, кормит его из ложки и вытирает ему задницу. Она родила ему пятерых ублюдков, воспитала их, и теперь они работают в Силиконовой долине. Он всегда изменял ей с молодыми и красивыми стриптизёршами. Иногда он неделями не выходил из борделя. Женщины доставались ему даром! Знаешь, сколько у него детей? Пока она мыла сковородки, он баржами возил проституток из Мексики. Ему девяносто лет, и у него деревянная нога, а он завёл себе двадцатипятилетнюю любовницу, которой он собирается слить огромное состояние. Ты знаешь, сколько страдала эта женщина! И этот бесчестный человек учит меня жить!

В кафе, где была назначена встреча со стариком, Энди вошёл уже в довольно взвинченном состоянии. Здесь было темно и жарко, как в сауне. Резко пахло корицей. За стойкой орудовал индеец с татуировками на лице, а за деревянными столиками тихо переговаривались редкие посетители.

— Ну вот мы и пришли, — сказал Энди. — Видишь, эта гора сала с водянистыми глазами и с выпадением матки? Это его жена.

Девяностолетний гангстер с лисьим лицом сидел в самом дальнем углу за непомерно огромным деревянным столом и поначалу показался величиной с ребёнка. У него была лысая старая голова и большие руки, похожие на клешни. Одет он был скромно: спортивная курточка, золотые очки и пронцательные голубые глаза.

— Этот старик мне как отец. Внутри у него сидит рак. Он медленно умирает, — шепнул Энди, и глаза его увлажнились.

Старик усадил нас напротив, поправил слуховой аппарат, и мой супергерой

немедленно превратился в маленького мальчика. В лице — убийственная серьёзность.

— Здравствуй, Энди, — сказал старик, и Энди представил меня самым церемонным образом.

Вопреки всем ожиданиям, вместо того чтобы спасти наше финансовое положение, старик принялся подробно расспрашивать о нашей жизни, а Энди ёрзал, будто он сидел на раскалённой сковородке.

— В последнее время я не могу работать. Из-за неё. Мы собираемся в Берлин. Нам надо протянуть до весны. Но это непросто, ведь она (я) совершенно сумасшедшая. Она (я) не спит по ночам. Вскакивает (вскакиваю) ни свет ни заря. У неё (у меня) биполярное расстройство. Ей (мне) надо заняться медитацией.

Старик улыбнулся.

— Он прав? Тебе нужна медитация? У тебя биполярное расстройство?

— Скоро начнется.

Его голубые глаза сверкнули inferнальным огнём.

— Ты любишь его? — спросил он меня.

— Очень.

— Больше жизни?

— Примерно.

— Хе-хе, — и тут старик поднял одну из клешней и просипел, будто обращаясь к невидимой аудитории: — Ну так в чём дело? В чём проблема?

И тогда меня прорвало.

— Вообще-то, он запер меня в доме, он следит за каждым моим шагом. Даже когда я сижу в туалете, он спрашивает меня, чем я там занимаюсь.

Пока я говорила, старый гангстер кивал головой.

— Мне всё это знакомо. Мы с Энди знаем друг друга двадцать пять лет, — твёрдо и спокойно сказал он.

Я хотела спросить у него, сколько раз в его жизни повторялась подобная сцена, участниками которой мы были в этот момент, но не успела.

— Здесь ничего уже не поделаешь, его уже не исправить, — покачал головой добрый старый гангстер.

Этого было достаточно, чтобы Энди выскочил из-за стола.

— Учти, Джо, больше ты меня не увидишь! Это конец!

Он высыпал на старого Джо кучу проклятий, назвал его подлецом, развратником, ударил кулаком по столу, разбросал стулья и разбил чашку, но Старому Говнюку всё было как с гуся вода. Перед лицом уходящей жизни он был спокоен как Будда. И вообще, все сидевшие в кафе были невозмутимы. Именно тогда стало очевидно, что когда-нибудь Энди

проколет мне мозг первым подвернувшимся гвоздём, а мир так и останется безучастно глазеть на это своими усталыми глазами.

Вволю наоравшись на старого Джо, Энди чуть не убил попавшегося на пути официанта, больно схватил меня за запястье и потащил на улицу. Когда мы сели в трамвай, я решила, что лучше молчать, и всю дорогу трогала губы языком изнутри, чтобы удостовериться в том, что у меня закрыт рот.

Все последующие дни Энди был необычайно мрачным, забивался в кафе, раскрывал свои тетради с пятнистыми обложками, галлонами пил кофе и сосредоточенно ковырялся в книгах. О старом Джо лучше было не упоминать. Можно было поплатиться жизнью. Но, кажется, он считал, что я была с Джо заодно.

А потом он спросил:

— Зачем ты кокетничала со старым вонючим подонком?! Ему же девяносто!

РОЖДЕСТВО

В декабре его мать посещала нас реже. То есть он всё меньше её упоминал. Кажется, моё присутствие постепенно вытесняло её. Я больше не слышала по ночам шагов по крыше, всхлипываний, плача, объяснения в любви, обвинения в сыновней неблагодарности и выпадов в мою сторону.

— Она ушла? — спрашивала я.

— Кажется, ушла, — говорил он с горькой усмешкой.

Я и сама не знала, в какой момент у меня в душе зарождается ирония и где она граничит со страхом.

Вскоре он получил письмо от своего швейцарского друга, того самого, который написал о нём роман.

— Он будет здесь в следующий понедельник. Я очень расстроен.

— Почему?

— Он тебя соблазнит. Он молодой, знаменитый и баснословно богатый.

— Считай, что я его ненавижу, — на всякий случай сказала я.

Время вокруг Рождества было заполнено нелепыми надеждами, ложными смыслами и ожиданиями, а предпраздничная лихорадка подарила нам беззаботную и почти счастливую неделю. Энди был приглашён держать ежегодную рождественскую речь в Окленде, в знаменитом театре. О чём речь

и что такое Окленд, спрашивать я стеснялась. Не хотелось попасть впросак. Судя по тому, как он говорил об этом событии, стало ясно, что Окленд — место с очень известным театром, даже всемирно знаменитым, и я заразилась его волнением. Зато под шумок мне удалось позвонить сыну, и он оказался в полном порядке, что очень меня обрадовало.

В эти дни город был украшен светящимися шарами, блёстками и лампочками. Из громкоговорителей распинаясь Синатра. На Юнион-Сквер воздвигли огромную ель. И мы, как пьяные подростки, кружили по центру.

Запустив руку к Энди в штаны, я любовно мяла его жопу, отчего он ликовал и возносился на десятое небо. А раз он возносился на небо и не терзал меня своими параноидальными заскоками, то я тоже куда-то возносилаь. Поскольку наше блуждание между витринами и туристами было совершенно беспредметным, я решила постфактум исправить положение.

— Давай зайдём в шмоточный магазин, — предложила я, не подозревая, какое это произведёт на него впечатление.

И как только он переступил порог магазина, он оказался в какой-то для него кошмарной, дикой среде, измученной жаждой совершенства!

Хотя я вела его за руку, казалось, ещё минута — и он упадёт в обморок. Выражение его лица было крайне растерянным. Ни в армии среди талибов, ни в алкогольных сражениях — он ещё никогда не испытывал такого животного страха. Пальто были выстроены военными отрядами, платья на плечиках были подобны висельникам, а из-под них то и дело выпрыгивали какие-то разнузданные восемнадцатилетние фурии и начинали кривляться перед зеркалами с кокетством суккубов.

На секунду и я ощутила то, что должен был чувствовать он: вокруг копошилась толпа хищных созданий, которые питаются огнём, да ещё и самым загадочным для него материалом — шмотками! И это были не просто создания, а вагины в собственном биотопе!

В глубине души я была уверена, что Энди, как любитель экстремальных ощущений, наслаждался этим присутствием экстрагенитальной витальности. Но в каком из углов его загадочной космогонии находилась его мать? Тогда я мало представляла себе, что творится в его бедной голове. Во всяком случае, побарахтавшись в развалах, наконец я добыла оттуда винтажное платье с павлинами, нацепила его и предстала перед своим раздавленным инквизитором.

— Какая красота! Бубуш, в этом платье ты похожа на настоящую кинодиву! Какая же ты красивая! В Окленде это должно произвести сокрушительное впечатление! — простонал он и, немного расслабившись, стал рассматривать меня под разными углами. — В Каракасе моя мама носила точно такое же

платье! Помнишь, на той фотографии? Ни в коем случае не снимай. Я тебе его куплю!

Со стороны это выглядело так, как если бы заботливый дедушка в разгар инцестуальных отношений привел внучку покупать рождественские подарки — всякую промискуитетную дребедень!

Не успела я и глазом моргнуть, как он уже стоял у кассы.

На улице я выглядела как звезда из третьеразрядного фильма пятидесятых (платье было в стиле рокабилли). И не успели мы зайти в дом, как он затащил меня в чулан.

— Иди скорей сюда! У меня ещё много прекрасных нарядов!

Он стал извлекать из тёмных глубин самые немыслимые вещи, начиная с носовых платков конфедератов, заканчивая тяжёлыми, как сёдла, мотоциклетными чикано.

Куртки были отложены на вынос.

— У меня с ними связаны плохие воспоминания. Это дорогущее дерьмо я когда-то купил в Голливуде. Их нужно отнести неимущим!

Там же были найдены лифчики разных калибров и бумажный цветок, который я тут же воткнула в петлицу его куртки. Но это было ещё не всё!

— Смотри, какая удача!

Это была старая фетровая шляпа. Он смахнул с неё пыль и энергично нахлобучил мне на макушку.

— Боже мой, как она тебе идёт! Ты даже не представляешь! Я дарю её тебе! Это очень дорогая шляпа! Я купил её лет двадцать назад, но дела это не меняет. Ты ни в коем случае не должна её снимать! Теперь ты похожа на знаменитую танцовщицу, нет, художницу с Монмартра! О вечный и непреходящий праздник! О Париж! Моя дорогая Коко. Да, тебя зовут писательница Коко Шанель. Нет, не Коко...

И он уже волок меня к зеркалу.

— Эту шляпу ты должна надеть в Окленд! На моё выступление соберутся лучшие люди этого засранного города. И платье, которое я тебе купил. Всё вместе!

И наконец, совершив финальный заплыв между вешалками, Энди нашёл ковбойскую шляпу для собственной персоны. В последнее время мы и так выглядели как тяжелобольные, в том числе и на голову, а в этих прикидах и вовсе были похожи на огородные пугала.

Этот незабываемый вечер был посвящён суициду, потому что мы смотрели фильм про Сильвию Платт и потому что большинство хороших писателей были «всё равно депрессивными и биполярными, и что мы оба могли бы

покончить с собой, поскольку таланта нам на это вполне хватит. Ведь мы этого заслужили, потому как не хуже остальных».

ОКЛЕНД

В день поездки в Окленд я надела платье с павлинами и мы натянули на себя колдовские шляпы.

— Бубуш, мы великолепная пара, такая, как Фрида Кало и Диего Ривера, как Дали и Гала и даже как Данте и Алигьери! — стонал Энди.

Он был страшно взволнован, сказал, что за нами пришлют машину с персональным водителем, и то и дело вынимал из кармана часы. В двенадцать у подъезда нас уже ожидал мерседес. Я терпеть не могу мерседесы, но, по-видимому, в Сан-Франциско это не считается дурным вкусом. Оказалось, что Энди знаком с водителем.

— Знакомься, это мой дорогой друг Майк. Мы знаем друг друга уже лет пятнадцать. Он программист.

— И водитель?

Майк был аккуратно стриженным человеком со скучным смытым лицом.

— Как я рада... я ещё никогда не была в Окленде... Театр.... там будет концерт?

У него были маленькие бесцветные глазки, и смотрел он на меня крайне недоверчиво.

— Энди говорит, что вы из Германии. Это немецкая шляпа?

— Ну, не совсем.

— Гутен таг. Гутен морген. Я люблю сосиски и пиво. Гитлер капут. Гутен морген, — продекламировал Майк и расплылся в самодовольной улыбке.

— Она родилась в России, — слегка раздражённо пробубнил Энди.

— Матрешка? Бубушка? Путин? Я люблю Юри Гагарин. Интересно, вы нравится борщ? Вы нравится в Сан-Франциско?

Пока я размышляла, нравится ли «вы» в Сан-Франциско, Энди ответил за меня.

— Ей очень нравится Норд-Бич.

— Значит, вы нравится. Ой да, матрешка, Путин-капутин! — засмеялся Майк, покачивая головой.

— Между прочим, моя будущая жена пишет роман, — обиделся Энди.

— Да ну!

— Исторический, про императора Клавдия, про его любовницу. Он оказался

геем!

— Ну и ну!

— Представь себе!

Энди нещадно врал. Мы сидели на заднем сиденье автомобиля, и он то и дело толкал меня локтем и сжимал мою руку. И чем больше он врал, тем больней и веселей становились его толчки. А Майк продолжал задавать вопросы и делиться своими впечатлениями про водку и матрёшек. Когда наконец он заткнулся, Энди заговорил о каком-то типе, которого они оба знали лет тридцать назад.

— Он был родом из Кентукки... Жил в лесу. Его дом был полон оружия. Говорили, что во дворе у него стоит ракетная установка.

От этих воспоминаний Майк покраснел и вспотел. Некоторое время мы ехали молча. Вскоре перед нами показалась громада красного моста Голден Гейт, мы пересекли залив и въехали в какой-то промышленный район.

Пока я искала глазами долгожданный театр, они вспомнили ещё нескольких знакомых с трудной судьбой. И тут до меня наконец дошло, что Майк — подопечный Энди по Алкоголикам.

— Приехали. Это Окленд.

Майк припарковал свой мерседес во дворе здания, напоминавшего школу. А когда мы вышли из машины, Энди наклонился к моему уху.

— Кокетничать с ним бесполезно. Как ты уже заметила, он круглый дурак.

У входа в здание прямо на стеклянную дверь был приклеен самодельный постер с фотографией Энди.

— А где театр? — спросила я.

— Это самый что ни на есть театр жизни!

Оказалось, что это и правда какая-то школа, а новогоднее выступление Энди проходит в спортивном зале.

Послушать настоящего живого писателя собралась большая толпа. Настроение у зрителей было приподнятое. Рядом с баскетбольной корзиной стояла искусственная ель, возле которой девушки с кольцами в носу раздавали кофе и собирали пожертвования. Народ хлопал складными стульями, люди обнимались и издавали радостные звуки, а курильщики то и дело убегали на улицу.

Вскоре суета закончилась, толпа расселась и откашлялась, а Энди, заняв место у ели с пожертвованиями, начал доклад.

— Меня зовут Энди. Я алкоголик, — сказал он, и присутствующие откликнулись эхом.

Я сидела в этой дурацкой шляпе как на иголках, ведь людей было и правда много. Рядом со мной сопел человек-гора, густо увешанный гирляндами тяжёлых золотых амулетов. Вообще публика была завидная. На встречу с писателем пришли девушки в стразах и метастазах, представители различных вымерших народностей, глубокие старики, приползшие с фестиваля «Burning Man», мексиканские панки в металлических сомбреро, альтернативные сикхи и демонические женщины в самопальных свитерах. Все они были выражены похлеще моего, и большинство из них, очевидно, страдало тяжёлыми психическими недугами.

По-видимому, в эти минуты Энди свято верил в то, что он находится в театре. Рассказывая уже известную мне историю своей жизни, он горько шутил и выдерживал драматические паузы. Потом, минуя историю о том, как он женился по пьяни и как он работал со скелетами под Центральным парком, он перешёл к Евангелию номер три:

«Мы сидели в парке с умирающим от рака поэтом! Шёл дождь, и кусты отяжелели от роз! Пахло мочой и по нашим ногам бегали крысы! Тебя ожидает великое будущее!»

Кроме упавших под скамьи и намертво заснувших, все аплодировали. Потом задавали вопросы, как Энди стал писателем, что он сейчас пишет и тяжело ли быть писателем с алкоголическим прошлым.

— Когда я был ребёнком, я убежал от своих безумных, искалеченных войной родителей в библиотеку. Это была моя детская мечта — чтобы когда-нибудь мои книги и фотографии лежали в библиотечных витринах. Однажды туда придёт такой же мальчик, как я, и, может быть, ему тоже захочется стать писателем, — сказал Энди.

И ещё он рассказал им много того, о чём я до тех пор не слышала, и это было здорово. А в конце своего творческого вечера он широким жестом указал на меня и сказал, что я его невеста, что я писательница исторических романов и что мы уезжаем в Берлин. И меня распирало от гордости и нежности к этому блестящему и артистичному человеку!

Но где был театр? Куда подевались большие надежды?

Всю дорогу домой я молчала, переваривая впечатления дня. Когда мы зашли в квартиру, Энди неистовствовал.

— Почему ты кокетничала с Майком?! Его всё равно голыми руками не возьмёшь! Он богатый. Да! Но он вообще не по этому делу. У него стоит только на бабки. Ты же видела его мерседес! И вообще, тебе что, меня мало?

А я что-то лепетала в своё оправдание.

Так прошло Рождество.

ЯНВАРЬ

Тридцать первого декабря по улицам, украшенным китайскими фонариками, ходили нарядно одетые люди. Они смеялись, флиртовали, а в ресторанах горели свечи и остро пахло духами. Мы накупили яблок, покрытых нежной пеленой парафина, и вернулись домой. Потом я послала родителям поздравление по-английски (Энди не читал по-русски, а под прикрытием моих родителей могли скрываться кавалеры) в надежде, что они догадаются о том, что это поздравление. Энди это очень понравилось, потому что в конце было приписано его имя, и вообще, там не было этих загадочных, чудовищно непонятных кириллических закорючек, «которыми пишут в Казахстане». И он был в таком восторге, что чуть не задушил меня руками и комплиментами.

Около восьми вечера я надела своё платье с павлинами и улеглась на матрас рядом с ним смотреть фильм про Харви Милка, и мы, так и не дождавшись Нового года, выключили свет.

Шестого января центр неожиданно наполнился красной толпой Санта-Клаусов. Толстые, тонкие, в коротких юбках и с бутылками в руках, они шли устрашающими отрядами молодых грызунов.

— Бубуш, это самая тупая публика в мире. Это университетские братства!

Об этом я ничего не знала, и Энди пояснил, что это клубы богатой молодёжи и существуют они исключительно для того, чтобы дети богачей женились на себе подобных.

— Они устраивают пьяные оргии с унижительными посвящениями. Там процветают сексуальное насилие и разврат, после которых наступает счастливое материнство. Братства эти богаты и влиятельны. Короче — страшная мерзость.

Энди был прав, эти подростки с бутылками в руках никакого позитива не вызывали. Это была передовая Америка.

А на следующий день, седьмого января, Энди сказал:

— Сегодня во Франции террористы ворвались в редакцию «Шарли эбдо». Там работает мой кузен. Его, наверное, убили.

Это была правда.

Его день рождения, то есть день рождения моего сына, которому я впервые за много лет не позвонила в этот день, мы справляли в тёмной комнате на матрасе и смотрели фильм про Рэя Чарльза — великого чёрного музыканта. Фильм был совершенно замечательный, а актёр, сыгравший слепого гения, во время съёмок жил с завязанными глазами и сам чуть не ослеп. Но где-то в середине фильма мне

стало ясно, почему мы смотрим это кино.

— У знаменитого Рэя Чарльза было множество любовниц. — В темноте глаза Энди горели как две зажигалки. — Несмотря на его слепоту, девушки бегали за ним толпами! Двенадцать детей от девяти женщин!

Наконец Рэй Чарльз запел своим «пыльным» голосом «Mess around», и Энди стал с воодушевлением рассказывать мне, что это великая песня про блудство, которая является неотъемлемой частью американской идентичности. Мы прокрутили песню про блудство раз пять, подпевая, завывая и хрипя, как несмазанные телеги, приплясывая и опрокидывая мебель. А в три часа ночи он разбудил меня и сказал:

— Бубуш, я не могу спать. Это была песня про тебя.

Вскоре Энди закрыл мой аккаунт в фейсбуке под предлогом того, что фейсбук стал рассадником разврата. Пришлось забыть обо всём, что не было включено в его, Энди, орбиту. Рот его был плотно заперт на неподвижный чугунный подбородок. Беспокойство выдавали только глаза — в них были страдание, томление и боль, будто черти поджаривали его на сковородке, всё время добавляя жару. У меня появилось устойчивое чувство вины. Теперь меня мучила совесть, «которой у меня нет». До сих пор я не понимала, что «интернет — это ошибка», что «через фейсбук можно связаться с любовниками». И опять, уходя к Алкоголикам, он запирали меня на ключ. Каждые полчаса звонил телефон, и я вздрагивала, как от удара плети.

— Чем ты сейчас занимаешься? С кем это ты говорила по телефону? Гудрун? Это женщина или мужчина? Кто все эти люди, твои друзья? Что им от тебя нужно?

Зато когда он возвращался, я бросалась к нему на шею.

— Ты любишь меня, Бубуш? — спрашивал он с порога.

В эти дни я опять задыхалась от страха. Когда на Западном побережье наступала тьма, а за океаном вставало солнце, я начинала паниковать и отчётливо слышала чужое дыхание. Может быть, это вернулась его мать? Или Фэнтези выследила нас, раздобыла ключ и неслышно проникла в квартиру?

В прошлой жизни я читала по ночам. Но теперь это можно было делать исключительно днём. К моему ужасу, я узнала, что я воркаголик. Я уже знала о том, что, когда я иду по улице, я слишком фривольно улыбаюсь посторонним, и исправилась. Кроме того, во мне обнаружился непреходящий и неискоренимый эгоцентризм. Ни к селу ни к городу я могла заговорить о своём сыне, этом «отсталом ублюдке, живущем на медикаментах». Кроме того, даже по делу можно найти себе агента, переводчика и т. п. — женщину.

Чувство вины и раздражения сменялось у меня протуберанцами обожания. И опять мне казалось, что ведь как хорошо болтать всякие глупости, лёжа друг у друга в объятиях и улыбаясь в темноте.

— Бубуш, я так скучаю по тебе. Я скучаю по тебе, даже когда ты рядом, — мурлыкал Энди.

— А я скучаю по тебе ещё больше!

И до сих пор всякий раз, входя в лифт, или заходя в квартиру, или просто оказываясь на пустынной улице, мы целовались, как школьники, и по мне разливалась счастливая цветочная ртуть. Но на следующий день паника начинала душить уже с рассвета, а в груди начинала kloкотать ненависть.

ЧЕМОДАН

Если потихоньку складывать свои вещи в чемодан и делать это несколько дней сряду по чуть-чуть, то в конце концов можно будет выскользнуть из квартиры. Мои осторожные сборы закончились тем, что чемодан полетел в стену, был разбит, из него хлынули все вещи, а дверь была заперта на ключ.

— Ты не можешь, ты не имеешь права. Это подло! Если ты уйдёшь, я покончу с собой! Ты меня заколдовала! Ты ведьма. Что за дьявол послал тебя? Ты моя смерть!

Он катался по полу, бился головой о холодильник, загораживал дверь столом, а я кричала, что он пиявка и паразит. А потом он плакал безудержно, как щенок, и это было рыдание напоказ, с надрывом, как у малолетних детей. Он умолял, клянчил, выдувал пузыри, разбил зеркало в ванной, разрезал руку и размазал кровь по стене. Успокоительных у меня не было, да и вряд ли он стал бы их принимать, поскольку сухие алкоголики боятся медикаментов. Во всяком случае, у нас в квартире, то есть в обезьяннике на Буш, происходило что-то несусветное, а стены были многократно пробиты летающими предметами и залапаны кровавой рукой.

Через день мы примирились, и я снова свято верила в будущее счастье. Как ни в чём не бывало мы опять болтали об Америке, о пионерах Дикого Запада, об отважных звероловах и об охотниках за головами.

— А гангстеры!

Мне казалось, что у него сознание авантюриста. На самом деле в этом я могла его переплюнуть. Зато всё, что я о нём знала, в моём воображении могло прекрасно сгодиться для биографии какого-нибудь знаменитого outlaw.

Как я уже говорила — заливал он по-чёрному, по-нашему, но только по-английски.

Как у любого человека, родившегося в России, у меня были самые романтические представления о бандитах. А как девочку из приличной семьи, меня восхищал богатый тюремный фольклор: блатняк, феня, татуировки, воровской этикет. Это же огромный культурный пласт, национальное наследие, мировая сокровищница! Всё это было просто восхитительно!

— Мы будем грабить банки и умрём в один день!

— Мы любим друг друга, как Бонни и Клайд!

Теперь мне и вовсе не хотелось никуда от него уходить. Никогда!

Когда-то, много лет назад у меня просто башню снесло, когда я увидела фильм с Фей Данауэй «Бонни и Клайд». Она была невероятно хороша и отменяла глупости, забытые мне в голову с самого детства. Я помню, как я сказала своей матери:

— Десять заповедей — это что-то буржуазно-отвратительное. Это — склизкое.

Для того чтобы понять, как устроен мир, мне хотелось нарушить все десять. Только так можно любить! Только так можно писать! Художник сродни преступнику — так сказал Маркс!

Тогда Фей-Бонни открыла мне потайное окно. С тех пор я так и представляла себе настоящую любовь, неистовую и саморазрушительную, потому что в моём понимании любовь, а точнее, страсть должна быть дисбалансом и закончиться великой трагедией.

ПИСТОЛЕТ

— Энди, я всегда мечтала иметь пистолет, — скромно призналась я однажды ни свет ни заря.

— Нужно узнать, где проходит ближайшая оружейная ярмарка, — зевнул Энди, и через пять минут мы уже кипятили утренний чай.

Оказалось, что оружейные ярмарки довольно часто проходят в маленьких городках на полянах, в лесных чащах или в школьных столовых.

— Если хочешь, мы можем поучаствовать в лотерее и выиграть гранатомёт. Короткие стволы продают как мобильные телефоны, — с видом знатока пояснял Энди. — Можно купить пушку, даже без номера, а можно купить оружие по кусочкам, — продолжал он.

— А регистрация?

— Регистрироваться не надо. Приходишь с водительским удостоверением. Они куда-то звонят, проверяют, и готово. — И, глядя на мое восторженное лицо, добавил, что разрешение получить проще, чем аптечный рецепт, потому что это страна свободных людей!

Я была в восторге и совершенно не понимала, почему он и все остальные ещё живы. А Энди уже вошёл в раж:

— Если тебе неважно, ты можешь купить пистолет в соседнем районе. Идешь на детскую площадку, подходишь к первому попавшемуся ребёнку и спрашиваешь, где его мама. Через пять минут приходит какой-нибудь мужик и ведёт тебя в свой подвал. Берешь, что тебе нужно. Оплата на месте. Хочешь попробовать?

Как-то во время очередного заскока он сказал мне, что если я уйду, то он застрелится, а я сказала, что если я останусь, то застрелюсь я.

— Ну, погоди! — тогда сказал он.

Затем он ушёл на кухню, загрохотал сейфом и вернулся, засунув в ухо маленький чёрный пистолет. Ага, значит, до сих пор он это от меня скрывал! Дело было серьёзно. При этом вид у него был какой-то праздничный, даже победоносный. С дулом в ухе он многозначительно смотрел мне в лицо, что, мол, сейчас пульнёт, а я буду отдуваться перед полицией, перед его друзьями, его братом, который живёт во Флориде, и в конце концов, перед собой, что, мол, сама виновата.

Неожиданно меня охватило бетонное спокойствие. Я представила себе всё как на ладони: звук выстрела, тишину, которая последует за этим, возню за стеной. Потом будет, быть может, робкий или, наоборот, грозный стук в дверь: «Откройте, полиция!»

Всё происходит очень быстро. Мне заламывают руки. Щёлкают наручники — тесные и холодные. Потом меня отводят в полицейское отделение, где на входе сидит толстая женщина с пёстрыми карибскими ногтями... кафельный пол... лужа мочи...

А может, полиции не будет? Я буду выть и рвать на себе волосы, посыпая голову скрепками и огрызками карандашей? Ха-ха-ха! Во всяком случае, глаза у него маниакально светились.

Пистолет, будучи театральным атрибутом для нагнетания гангстерской атмосферы, был тем не менее настоящим. Он был старомодный, с толстенькими самодельными ушками для удобного хвата. А лицо Энди было то ли гневным, то ли притворным — чёрт его разберёт. И когда он взвёл курок, где-то за стеной заплакал ребёнок, символизируя своим воплем конец и начало жизни!

— Я сделаю это! Я серьёзно! Я убью себя, — мрачно проговорил он.

— Хочешь, я сама тебя застрелю? Из чистого гуманизма, — предложила я ему. И вдруг на меня напало тяжёлое веселье. — У меня в школе была военная подготовка. Мы каждую неделю стреляли. Тир был в школьном подвале, потому что вы, американцы, собирались сбросить на нас атомную бомбу!

Он молча жевал губы.

— Может быть, пистик не заряжен? — спросила я примирительно.

Но он продолжал молчать.

На всякий случай я старалась оттянуть время — пускай он застрелит себя на пару минут позже. Потом я осторожно вытащила эту штуку из его одеревеневшей руки, выдвинула пустой магазин и предъявила обманщику. Его лицо изобразило крайнее удивление.

— погоди, это надо исправить! — сказал он и начал вкладывать туда одну-единственную пулю.

— Русская рулетка?

Всё это он проделывал издевательски медленно, глядя мне прямо в глаза.

Боже мой, как же я любила его в эту минуту!

И как же он меня бесил!

И ещё больше полюбила за следующее:

Как фокусник, уронив пулю в карман, он опять приложил дуло к виску! А я отвернулась, поставила на плиту чайник и спросила его преувеличенно бодрым американским голосом:

— Чай или кофе?

И когда чайник неожиданно засвистел с таким звуком, будто это не чайник, а трансатлантический лайнер, Энди уронил свой пистолет, который не выстрелил только по чистой случайности. Потом он схватился за чайник, ошпарился и завопил, что я его покалечила.

Теперь я понимала, что для меня эта относительно спокойная сцена даром не прошла и что у меня трясутся колени. В следующий момент я зашла в ванную и написала помадой на зеркале следующую фразу:

«Магии пистолета поклоняются дети и сатана!»

Вернувшись на кухню, где он уже охлаждал свою злополучную руку, я подняла пистолет, лежавший у его ног.

— Знаешь, ты мне порядочно надоел.

Я успокоилась только тогда, когда он «наделал в штаны». Я ликовала. Но ещё секунда — и пистолет был выбит у меня из руки.

Через несколько минут я выгребала амуницию из металлического сейфа

и пригоршнями бросала её за холодильник.

— Ого-го, целая куча патронов! Зачем они тебе?

И, пока я искала остатки патронов, я наткнулась на альбом с фотографиями, которые были склеены компотом и макаронами.

Через час мы мирно лежали на матрасе, рассматривая фотографии. На одной из них была румяная девочка с надменным и обиженным взглядом. У неё было широкое красивое лицо, слегка безумная улыбка и выразительные чёрные глаза. Это была его мать. Могла ли она заподозрить, что детский, один из её немногих сохранившихся снимков, будет лежать в ящике с патронами?

Потом я обнаружила несколько фотографий его дочери. На одной из них она, тогда ещё толстая и рыжая, стоит вместе с Энди, хихикает и зажимает нос.

— Да нет же, это не свалка. Это квартира моего товарища Стива. Он был гений. Энциклопедист. Мы дружили в Нью-Йорке. Влюблялись в одних и тех же девушек, пили, питались подножным кормом, читали запоем. Мы спали тогда на по-настоящему грязных матрасах. С червями! Стив умер от ожирения. В нашем возрасте все умирают, кто от рака простаты, кто от ожирения. Стив умер от сердечного приступа. Сердце не выдержало.

Хотя Энди сам сказал мне, что носить оружие запрещено, теперь он повсюду таскал с собой пистолет, «чтобы защитить меня в случае надобности». Он был богом войны!

«На этой улице нельзя разговаривать громко! Неверное слово — и ножиком между рёбер». А иногда он говорил: «Тихо, нас может подслушивать Фэнтези!» или «По этой улице даже днём не пройти. Отобьют почки».

Мне было смешно. У меня дрожали руки. Я ненавидела его. Я его любила. Как это ни странно, но даже наши отечественные бандиты по сравнению с описываемыми Энди жителями соседских домов казались солнечными зайчиками.

АРХИВ

Через несколько дней после истории с пистолетом ему пришла какая-то открытка из спецархива, где находились его рукописи. Этот архив хранился в Университете Делавэра. Коллекция содержалась на частные деньги.

— Вот как это делается в Америке, — пояснил мне Энди. — Кому-то может прийти в голову поддерживать кого угодно. Главное, чтобы были деньги.

В Делавэре собраны бумаги Фицджеральда, Линкольна и мои!

Современный Бог живёт в архиве. Раньше он жил в доме, в коробке, в святилище. В поисках места для Бога человечество ломает себе голову. Теперь он живёт в сети, как коллективный разум. Энди выстрадал себе сомнительную вечность и теперь прятался в регистре однофамильцев между лауреатом Пулитцеровской премии и целой кучей русских писателей. Это было самообманом тщеславного подростка в стране, где люди, если доживут, превращаются в миф. Миф, который он выращивал в пробирках своих писаний и в университетской реторте, оказался не востребуемым: он не распродавал свои книги как горячие пирожки. Зато его героический двойник жил в архиве. Архив не гарантирует достоверности, особенно в случаях с писателями. Да и нужна ли достоверность, когда речь идёт о мифе? Короче, какие-то богатые старики пожертвовали деньги в библиотеку и Энди попал в очередную квоту.

Несмотря на то что теперь мы могли продержаться на плаву ещё несколько месяцев, ужас перед нищетой не давал мне покоя.

— Может быть, твои архивисты что-нибудь купят? — спрашивала я.

Но, чтобы разбудить архивистов, первым делом надо было составить опись хлама и барахла, и мы принялись переключивать бумаги и рисунки, сортировать их, очищать от пыли и паутины, от клейкой дряни, разворачивать рисунки и холсты, выносить их на свет божий.

На сей раз я превратилась в архивариуса и сортировала его бумаги. И опять же из бездонного чулана на свет были извлечены ящики. Штук тридцать. Все они разваливались и расползались. Были ещё и книжные полки. Безумное количество немыслимого хлама! И пока Энди охал и постанывал и чуть ли не в обморок падал от каждого извлечённого на свет куска бумаги или холста, я раскладывала весь этот бумажный мусор в отдельные кучи.

Потом мы составили опись и отправили в архив в надежде на золотой поток.

ШВЕЙЦАРЕЦ

В один из тёплых бессолнечных дней, когда холмы были окутаны жёлтым туманом, должен был приехать ученик, то есть Швейцарец. Тот самый, который написал про Энди роман. И мы, сидя за колченогим столом и потягивая чай, с минуты на минуту ожидали его звонка.

— Бубуш, ты должна с ним переспать. Малыш, это как раз то, чего тебе

не хватает. У него есть деньги, замок в Альпах, а его семья торгует искусственным снегом на лыжных курортах. Он никогда не приглашал меня к себе. Они убеждённые фашисты. Все, кроме него. Знаешь, как они заработали своё состояние? Его отец поставлял в Иран бочки с тяжёлой водой, а в Междуречье — ядовитые газы.

И вот раздался телефонный звонок. Это означало, что Швейцарец преодолел воздушный океан и сидит в такси.

— Он будет через десять минут!

Энди с тревогой смотрел на дверь, потом переводил испытующий взгляд на меня.

— Деваться некуда. Ты просто обязана его соблазнить. Он моложе меня лет на пятнадцать. У него в каждой столице мира по жене. Вы просто как близнецы! Я забыл тебе сказать, Бубуш, что он любит экзотику. Ты бы могла уехать с ним к берегам Амазонки и... Если я об этом узнаю, я покончу с собой. Как ты думаешь, Бубуш, это когда-нибудь произойдёт?

Наконец в конуру тяжело ввалился Швейцарец, и они долго стояли, сплетясь крепким корабельным узлом. Это была так называемая мужская дружба. Швейцарец был коренастый человек с маленькой бритой головой, черепашным лицом и кротким собачьим взглядом больших серых глаз. Во всяком случае, он смотрел на моего чёртова Энди восторженными глазами первоклассника. И не успел он поставить на пол рюкзак, как Энди оттянул меня в ванную:

— Если я услышу, что вы говорите по-немецки, я убью и тебя, и его. Ясно?

Швейцарец был ниточкой в его прошлое. Безусловно, он знал о нём что-то важное и смог бы стать мне ключом, займись я расследованием. Но пускай ключ будет выброшен в реку. Предоставьте мне самой решить эту головоломку...

Из их разговоров, в которых я, разумеется, не участвовала, я узнала, что они познакомились в мрачные годы юности, когда писательские амбиции и половая грусть забросили Швейцарца в Сан-Франциско. Здесь он жил среди мелких воругов в ночлежке, пропитанной хорошо темперированной мочой. Его соседом по комнате был не кто иной, как Энди, который только что завязал с алкоголем. Швейцарец учил английский. Лёжа на нарах, Энди читал ему Фолкнера и Уитмена. Уже тогда Швейцарец смотрел на Большого Брата совсем как я — совершенно одурманенным взором.

Это было как раз во времена Шейлы, той самой блондинки на мотоцикле. Она только что оставила его.

— Шейла была шикарная баба! Ты помнишь, как она похитила Ван Гога из какой-то частной коллекции?!

Швейцарец кивал. Я уже знала эту историю. По словам Энди, Шейла была

такая же истеричка, как его мать. Его ученик робко утверждал, что она была её полной противоположностью.

Как бы то ни было, тогда Энди удалось закрепиться в ночлежке. Отличившись примерным поведением среди наркоманов и дебоширов, вскоре он стал администратором заведения.

— Каждый второй день в жилище неприкасаемых кто-нибудь вешался или умирал от передоза!

— Они резали себе вены вдоль, а не поперёк!

— Волшебное правило!

— Ты помнишь, как они травились психоделиками, снотворными, анестетиками, кислотой и барбитуратами!

— А помнишь, как они душили друг друга? Как они резали друг друга кухонными ножами?

— А во время невыносимых отходняков насиловали немощных стариков, живших по соседству в доме инвалидов!

— Или в приступах белой горячки пачками выпадали из окон!

— Да, это был золотой век! В те годы Сан-Франциско кишел музыкантами и поэтами. Мы должны сходить к отелю «Океан вью». Это историческое здание. Ты, конечно, не знаешь, кто такой Н., но он скончался там от передоза героина!

— Да, это была большая потеря.

— Многие погибли от циррозов! Золотое время! Постепенно их вытеснила неолиберальная сволочь!

— Ты знаешь, что такое фенobarбитал?

Следующие несколько дней, пока Швейцарец гостил в квартире, которую они между собой называли казармой, они говорили о литературе.

«...Воле Шойинка получил тогда Нобеля. По квоте. Они должны были дать африканцу...»

«...Филип Рот чуть не свихнулся. Он был уверен, что его пошлют в Стокгольм...»

«...Американцу в ближайшее время не грозит. Следующего Нобеля дадут какой-нибудь политически ангажированной манде или мёртвому рок-музыканту...»

«...Она получила сто тысяч за сопливый роман. Купила себе виллу в районе Пало-Альто...»

Ещё они говорили об издателях и о прочей малозначительной дребедени, которая в воображении Энди составляла суть и вершину мужских разговоров. А я представляла себя на обсуждении собачьей выставки, где кобелям раздают

медали за экстерьер.

И опять до меня доносились туманные обрывки чужих жизней...

Утром того дня, когда Швейцарец вылетал в Мехико, Энди был в приподнятом настроении и шутил как оглашенный. Его приятель планировал пробыть там всего несколько часов. Там его ждала встреча с какой-то «фридой кало», которую «он уже трахнул».

— Я видел её лишь раз в жизни. Она произвела на меня необычайное впечатление...

И, как сказал Энди, в этом путешествии «его учеником» руководила «эротическая мистика», а оправданием поездки были полевые исследования, сбор материала для очередного политического детектива.

— Ему не терпится описать сцену в ночной гостинице! Драгдилеры, опасность! Понимаешь, Бубуш?

А потом Швейцарец уехал и опять наступили мёртвые дни.

БИГ-СУР

— Давай поедem в Биг-Сур. Это далеко?

Я уже давно мечтала побывать в тех местах, где провёл последние годы своей жизни Генри Миллер. Как это ни странно, Энди решил, что это довольно неплохая идея. В конце концов, она вписывалась в его представление о том, как должны жить писатели.

Оказалось, что Энди не умеет водить машину.

— Я только на лошади, — обиделся он.

И всё-таки мы арендовали машину, и я повезла его в это знаменитое и теперь уже самое дорогое калифорнийское место. По дороге мы проезжали через маленькие городки, ярко залитые солнцем. То и дело нам попадались дома, находящиеся в собственности какого-то аукциона. Буйная растительность была уничтожена однообразием вилл и зарешечена дорогами. От Калифорнии, которую я знала по книгам и фильмам, не было и следа. И всё-таки я ехала к своему литературному дедушке, а по дороге Энди с жаром рассказывал мне о том, как умирают в Америке книжные магазины, рассказывал о деградации образования, а потом и о том, что скоро мы прославимся, разбогатеem... и вообще, счастье не за горами...

Неожиданно он сказал:

— Мы должны заехать в один маленький городок. Мне необходимо посетить

Алкоголиков.

Вскоре мы вырулили к безликому бетонному посёлку, состоявшему из дорожных развилок, и остановились на большой парковке у супермаркета.

— Пока я буду у Алкоголиков, не уходи со стоянки, — попросил он.

Алкоголики здесь ютились в невзрачном низеньком строении, в которое то и дело ныряли плохо выспавшиеся люди. Жарило солнце. Бензин добавлял духоты. Сунув в карман телефон, он ушёл на встречу откровений с безмянными психонавтами, а я осталась куковать на автостоянке, где в чахлой траве, пробившейся сквозь асфальт, барахтались насекомые, ничего не подозревавшие ни об алкоголиках, ни о муках моей любви.

Пока он витийствовал в бетонном сарае, я слонялась между аккуратно запаркованными машинами. Из соседнего супермаркета люди с явными признаками ожирения выносили полуфабрикаты и пиццу. У меня пересохло в горле, и хотелось кого-нибудь задушить. И тут мне в голову пришла великолепная мысль: пока он у алкашей, я могу сесть в машину и уехать куда глаза глядят. А он? Как он отсюда выберется?

Вскоре просветлённый и очищенный от скверны Энди вынырнул из сарайчика, победоносно позвякивая ключами от машины.

— Ну, как ты, Бубуш? Ты соскучилась?

— Ну да, — ответила я, рассматривая его величественную фигуру.

Мы зашли в соседнее кафе, и тут почему-то он опять стал ко мне придирааться, так, что мы поссорились. В результате я согласилась с ним, что во всём виновата я. Потом мы снова тронулись в путь. Я быстро оттаяла, и вскоре мы добрались до горных санаториев.

Пейзаж здесь был удивительным, то есть по мере приближения к священному месту он становился всё более волшебным. Вскоре я увидела океан. Дорога шла над обрывом, под которым простирался то ли длинный пляж, то ли райские кущи. Мне очень хотелось остановиться и полюбоваться этой дикой красотой, птицами, пиниями, но Энди спешил вернуться до наступления ночи.

Потом мы всё-таки затормозили, и я целую минуту стояла над синим водяным заревом, зачарованная и опустошённая прекрасным пейзажем. Энди из машины не вышел. Его лицо было тусклым и усталым: наверняка моё восхищение пляжем вызывало у него необъяснимую тревогу.

Наконец мы въехали в Биг-Сур, и над дорогой нависли тяжёлые изумрудные ели. Вскоре перед нами оказался деревянный барак.

— Это было первое жильё Генри Миллера в этих краях, а теперь — книжный магазин, — объявил Энди.

Тут топтались туристы в шортиках. Энди купил мне плакат с изображением

классика. Потом мы сфотографировались у входа во множество благородных и непринуждённых поз, и Энди сказал, что теперь мы уж точно пара настоящих писателей. А потом я увидела какую-то странную птичку, которая прочирикала прямо над моей головой, и мне стало ясно, что это сам Генри Миллер с того света шлёт мне загробный привет и что не зря я приехала в эти кусты над морем, в эти ядовито-зелёные кущи. А я была бесконечно благодарна моему самому любимому человеку на земле за это прекрасное путешествие, которое связало нас литературной пуповиной у самых берегов океана.

СОРОК ПЯТЬ ЯЩИКОВ

— Бубуш, мы разбогатели, мне дают двадцать пять тысяч долларов! Ты представляешь?!

Когда пришло письмо из архива, он танцевал на ушах и ноги у него заплетались. Он хватался за сердце, за меня и за телефон, обзванивая всех по списку, и повторял, что это невероятно. Потом он рассказал о людях из университета, смакуя подробности их жизни, интерьера библиотеки и прочее, и я чуть не погибла под тяжестью его эйфории.

— Бубуш, смотри мне в глаза!

И я не отрываясь смотрела ему в глаза!

Сейчас надо было организовать и упаковать бумаги для отсылки, и мне было позволено самостоятельно ходить за картонными ящиками в овощной магазин. Магазин находился в четырёх блоках. Это была вьетнамская овощная лавка. Нужно было пройти мимо китайского госпиталя и мексиканской автомастерской. Никаких примечательностей на пути не было. Кажется, там не было даже деревьев.

— Бубуш, иди быстро и не оглядывайся. Это очень опасное место. Если с тобой на улице кто-нибудь заговорит, просто не отвечай.

— Ты уверен, что со мной кто-нибудь заговорит?

— Ты не понимаешь, что это за город! Это же ад!

И, как только я вышла из дому, я увидела за спиной знакомую фигуру. Погода была прекрасная, город — пустой. А за мной по другой стороне улицы двигалась чёрная тень. Когда я тормозила и оборачивалась, он прятался в дверных нишах в полной уверенности, что я ничего не замечаю. А я бежала всё быстрее и быстрее.

— Ну, как прошёл твой поход? — спросил он, когда я вернулась, голосом невинной лилии.

Ровно четыре раза я отправлялась за ящиками и ровно четыре раза он следовал за мной на расстоянии «невидимости».

Вскоре наше жилище из медвежьей норы превратилось в гору мятых бумаг. Комиксы, Голливуд, телевидение, битники, стрит-арт, рисунки фриков, вздохи людей с поломанными биографиями — всё это было вывалено на пол и лежало перед нами в виде брошюр, приглашений, открыток и писем. И всё это должно было подвергнуться классификации и угодить в колумбарий. А он сидел в своём инквизиторском кресле и внимательно вглядывался в этот бумажный ковёр. Здесь как на ладони была вся его жизнь. Оставалось только упорядочить её, соотнести с хронологией, а значит, прочесть её, как житие какого-нибудь святого, где он был героем и жертвой.

Разбирать архив было интересно. Передо мной лежала незнакомая мне Америка — страна протестов и поэтов! Я сортировала книги, тетради, подклеивала порванные плакаты, проверяла, сверяла, связывала, утрясала, вынимала комки пыли, уютно приютившиеся между страницами, и надписывала ящики. От этого потока собственного прошлого ему становилось плохо.

— С каждой открыткой и брошюрой, уложенной в папку, жизнь моя уходит в небытие, становится землёй! Я на похоронах! Я на собственных похоронах! Ты мой могильщик! — причитал он, бессильно развалившись в кресле.

Ящиков оказалось сорок пять. Потом мы взялись за библиотеку. Она была относительно небольшой. В ней была альтернативная нетленка: Гэри Снайдер и прочее. Интеллигентский набор включал Достоевского и Бабея.

— Ты любишь Бабея? — спросил он.

— Бабель — это Одесса, далёкий город у синего моря. Привоз. — ляпнула я.

— Что такое «привоз»? Военное подразделение?

Ходили мы через эти бумаги целый месяц, аккуратно через них переступая. И так миновал январь.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ТРУДА

До весны оставался месяц. Пора было бросать к чертям всё на свете и ехать в Берлин. Да и он спешил убежать из этого проклятого города, избавиться от своей прежней жизни, от хвоста памяти, от разочарований, неудач, кабелей, консервных банок с обломками шариковых ручек, просроченных

презервативов, перочинных ножииков, давно вышедших из употребления лир, шиллингов, крон, проволоки, ваты, пустых спичечных коробков и ползучих лифчиков.

— Да здравствует светлое будущее, да здравствует новая жизнь!

Его квартира постепенно пустела. Каждую ночь мы спускались вниз с каким-нибудь ящиком или предметом нехитрой мебели и оставляли эти вещи на грязном углу. Ночью их обязательно кто-нибудь подбирал. Подошвы, кассеты, кишашие молью пледы, пластиковые стаканчики, бутылки из-под шампуней, заколки с остатками женских волос, осколки, рамы, бритвы, гирлянды и поцарапанные пластинки — всё это выносилось на задний двор, растя там горы ненужного барахла и несортируемых отходов.

— Всё на свалку! Всё к чертям! Жизнь к чертям! — причитал Энди.

Зато для меня это время было наполнено работой и смыслом. С утра я разбирала подрамники для живописи, вытаскивала из них гвозди и увязывала в пучки, которые мы относили к общежитию какого-то художественного заведения. Здесь они мгновенно исчезали в энергичных руках студентов. Туда же были пожертвованы неиспользованные рулоны холстов, альбомы для скетчей и съеденные молью или засохшие от льняного масла кисти.

После недели ночных вылазок Энди совсем расклеился. У него болела спина, распухла нога и кровоточила десна. А я, несмотря на многочисленные ушибы, царапины и порезы, была здорова, как свинарка, свинина, доярка и повивальная бабка. Бегая вверх и вниз по лестнице, спускаясь и поднимаясь в лифте, я зализывала раны и выгрызала полученные за день занозы, которые тут же начинали цвести и гноиться. Зато энтузиазм побеждал усталость.

В эти дни была доказана целебная сила физического труда, и наш союз вновь достиг совершенства и гармонии. Таким образом, всё встало на свои места: крышка моего черепа перестала съезжать с резьбы, и я нашла своё новое призвание.

Посреди большой свалки, в которую теперь окончательно превратился «обезьянник», каждую ночь мы смотрели полицейский телесериал. Главным персонажем был депрессивный пожилой следователь. По сюжету он тоже ходил на собрания Алкоголиков. Я уже знала, что в этой стране все — мал-мала-меньше — ходят на Алкоголиков.

— Бубуш, я так люблю тебя, боже мой! Можно засунуть язык тебе в рот? Когда-то в юности, когда каждый старался перещеголять другого в мерзости, мы говорили «сосать лицо». Можно пососать твоё лицо?

Наконец, мы снесли на улицу всю гомерических размеров одежду и оставили

на углу для неимущих торчков.

— Ещё в прошлом году я был толстым. У меня поднималось давление. Я похудел и отказался от соли.

— Что будем делать с ботинками?

Обувь отошла безногим.

И опять я слышала стук по крыше. А мама? Мы возьмём её с собой в Берлин? А может быть, она последует за архивом? Теперь на крыше что-то по-настоящему чинили. И я видела, как туда поднимались рабочие с лестницей, слышала, как они стучат молотками, и только гадала, замечают ли они, что там что-то не так, что прямо над квартирой в левом крыле каждую ночь появляется непрошенная гостья.

Вскоре пришёл огромный мексиканец и стал носить ящики, чтобы отправить все это добро в Университет Делавэра. Он надрывался. Чтобы его подбодрить, я сделала ему комплимент, что, мол, вон какая силища. И тут Энди, бросив на меня негодующий взгляд, схватил самый тяжёлый ящик и потащил его к лифту.

Всю неделю он питался аспирином. С непривычки у него была надорвана спина. Болели ноги. Вообще всё болело! Всё разлагалось!

ДОДО

После отправки барахла в архив в чулане у него оставалось ещё несколько картин, с которыми ему было всё ещё жалко расставаться. Как я уже говорила, все они были жёсткими, изображающими демонов, чёрными и красными, как потоки крови с дерьмом. Названия картин тоже были пугающие, в них клокотала тёмная энергия. Я и сама люблю красный цвет. Живопись — вещь чувственная. Краски — мясо. Эта духоподъёмная живопись могла бы украсить крематорий или камеру пыток. Словом, художником он был печальным. И не успела я подумать, что хотелось бы избавиться и от этого нелепого груза, как дело приняло неожиданный оборот.

— Бубуш, я совсем забыл, что у меня есть арт-дилер. Я не видел его уже несколько лет, но у меня есть идея. Это человек, облапошивший половину Голливуда, великий мошенник, он тебе точно понравится. Можно было бы слить все эти картины ему. К тому же Додо мой поклонник. Однажды он сказал мне, что я гений.

— Ну так в чём дело? Звони ему. Пускай купит.

Энди долго мешкал, жевал губы, скрипел своей знаменитой пластиковой

челюстью и размышлял, что бы ему такое сказать этому магнату.

— Пять картин — двадцать пять кусков, — предложила я от балды.

Весь день в нестерпимых муках прокрастинации Энди валялся на матрасе, репетируя непринуждённый звонок, а на следующее утро с неизвестно откуда появившейся прытью набрал заветный номер.

И тут свершилось ещё одно великое чудо.

— Бубуш, мы едем в Голливуд! Ты когда-нибудь была в Голливуде? Я сказал ему, что мы будем там проездом и можем захватить картины. Додо предложил мне пять кусков за пять картин!

Это было свинством, но мы решили поехать.

Первым делом Энди обзвонил всех знакомых.

— Мои картины станут частью самой крутой американской коллекции! Я уже практически классик. Несите венки на мою могилу! Ха-ха-ха!

И мы тронулись в путь.

О калифорнийский ландшафт! Степи сменяются зеленью, мимо проплывают акведуки и озёра. О Дикий Запад! О прекрасная пустота!

По дороге Энди не замолкал.

— Додо вырос в Голливуде, торгует абстрактными экспрессионистами, Бэконом, поп-артистами, недавно бросил свою жену, которая интересуется только элитными унитазами. Он оставил ей несколько лимонов, виллу по соседству с Клуни. Он собирается жениться на одной юной авантюристке. И я диву даюсь, как он ещё не умер!

Оказалось, что ко всем достоинствам у Додо цирроз печени, искусственная мошонка и рак простаты. Энди знал его по Алкоголикам и даже однажды спас от передоза амфетаминами. Теперь, по словам Энди, Додо мечтал, чтобы великий писатель Энди Шварц написал его мемуары.

— В Америке каждый говнюк, у которого есть бабло, заказывает себе мемуары! Это сейчас главный жанр. Заруби себе на носу, Бубуш, не роман, а мемуары, разоблачения и так далее! Люди жаждут крови! Скоро мы будем грести деньги лопатой. Как-то в Нью-Йорке я уже писал мемуары одного строительного магната. Он платил мне шесть кусков в месяц, а я сорил деньгами направо и налево! Конечно, он был жулик. Такие люди всегда жулики. Его дочь была профессиональным бордерлайнером. Время от времени от нечего делать она резала себе вены. Так, на всякий случай, от нечего делать. Она ходила ко мне на литературные курсы, снимала какое-то любительское кино и была влюблена в меня как кошка. Я тоже встретил её в Алкоголиках. Она считала меня гением. Меня обожала её мать. Она тоже хотела меня

трахнуть, но я сопротивлялся до последнего! И я сочинил этим людям прошлое вплоть до момента их зачатия. Понимаешь? Надо написать мемуары Додо, пока он ещё жив. Потом они никому не будут нужны!

Вообще-то, мы ехали на запредельной американской скорости — на скорости немецких пенсионеров. Зато по пути встречались удивительные ландшафты, но Энди было всё равно — на кой, как он говорит, ему ландшафты, когда впереди нас ждёт блестящее будущее, когда вскоре он станет классиком американского искусства и напишет самые откровенные мемуары самого скандального арт-дилера! Тогда мы купим виллу в Берлине на берегу Ванзейского озера и будем там жить с собакой и двумя пеликанами!

И мы уже проехали полпути, когда Энди охватила тревога.

— Если Додо не предложит нам ночевать, скажем, что мы ночуем в историческом отеле на бульваре Сансет прямо через дорогу от знаменитого голливудского парка. Там находится самый дорогой ресторан во всей Южной Калифорнии. Но, скорее всего, он скажет: «Братцы, зачем вам нужен этот засранный отель, оставайтесь у меня».

— А если не скажет?

— Что-нибудь сочиним!

К вечеру наша машина уже плутала в извилистых улочках Голливуда. По холмам карабкались маленькие домики, лепились один к другому. К этому часу в них спали звёзды — горящие и погасшие. Во всяком случае, этот горный городишко напоминал мне Грецию или Грузию.

По мере приближения к вилле Додо Энди всё больше наливался торжественными предчувствиями. Казалось, что у него изо рта вот-вот повалят мыльные пузыри, а из ушей пойдёт дым. Вилла находилась на Малхолланд-Драйв, за семью заборами, в парке, приютившемся на вершине скалы.

Вскоре мы остановились перед большими воротами и стали трезвонить в домофон. Поначалу нам никто не открывал, и Энди распахивался:

— Чёртов засранец этот Додо! Он меня обманул!

В этот момент раздвижные ворота стали уплывать в сторону. Теперь перед нами был сад, где дорожки были выложены каменным паркетом, а кипарисы выстрижены маникюрными ножницами. И пока машина медленно ползла к дому, Энди, придавленный декадентским величием капитала, промурлыкал, что он ничего другого и не ожидал, поскольку Додо — великий человек, и добавил, что ночевать нас, вероятней всего, не оставят, мол, посмотри, на что мы похожи! А в завершение, с поддельными рыданиями взглянув на меня и положив мне руку на плечо, простонал:

— Бубуш, мы же с тобой, ну давай скажем честно, просто бомжи!

Потом электронный голос сообщил нам, где припарковаться, и мы вышли у футуристической виллы, слизанной точь-в-точь с павильона Веймарской республики тысяча девятьсот двадцать девятого года. И только теперь в свете фонаря я увидела лицо Энди. Да, он был похож на гангстера, который в полночь оказался где-нибудь в Лувре, а я была его пособницей — просто персонажи из детского детектива!

Мы поднялись по бетонной лестнице и вошли в длинный стеклянный параллелепипед, залитый малиновым светом. Прямо из-под пяток лилась классическая музыка. Внизу за огромным стеклом, как в диораме, загорались и гасли ночные огни. И только когда глаза привыкли к полутьме, из красного марева проступила одинокая фигура хозяина, утонувшего в супрематическом кресле.

— Соната для фортепиано номер двадцать девять си-бемоль мажор, опус сто шесть! Запись из Карнеги-холла! — раздался глухой голос.

— Неплохо у тебя тут, — откликнулся Энди.

— Я должен дослушать концерт, — сказал голос.

Вскоре музыка стряхнула во тьму свои последние аккорды и хозяин ожил.

— Проходите и наливайте себе вино. Энди, кажется, твоя мама была из Франции? Это «Шато Мутон». Урожай тысяча девятьсот сорок пятого года. Год победы над великой Германией!

Но Энди отказался от вина, как «преданный анонимный алкоголик» — так они себя называют, и мы удовлетворились банальной минералкой. Потом Додо куда-то позвонил, заказал ужин, и, только когда над столом из литого цемента вспыхнул яркий свет, я увидела, что на нём зализанный чёрный парик.

Его подружки в этот вечер рядом не оказалось, и мы не стали спрашивать — мало ли что. Зато сразу стало ясно, что с головой у Додо плохо и что он живёт в параллельном мире.

— Где вы остановились? — заботливо спросил Додо, и Энди не моргнув глазом сказал, что нас уже ожидают в Беверли-Хиллз.

— Губа не дура! — оценил Додо. И тут же спохватился: — Не дури мне голову, Энди, это тебе не по карману, а если по карману, то тогда зачем тебе продавать свои картины за такие гроши?

Но Энди тут же нашёлся, что, мол, для него это великая честь — быть в такой легендарной коллекции. А цена символическая.

И тут Додо хлопнул себя по коленям:

— Эх, братцы, оставайтесь у меня. Чего вам ехать в какой-то засранный, захудалый Беверли-Хиллз, тащиться по тёмным улицам? Мы поужинаем здесь и сразу в койку. Я сейчас позвоню и отменю ваше бронирование.

Мы переглянулись. Ситуация была довольно конфузной. А что, если он

узнает, что у нас никакого бронирования нет? А Энди уже набирал какой-то номер и громко отменял в пустую трубку несуществующий заказ.

— Спасибо. Спасибо. Издержки будут оплачены.

Это было игрой, но выдерживал он её довольно неплохо. И даже снисходительный Додо сделал вид, что поверил. На секунду я вообразила, что все мы трое — безумные подростки и что миллионер, поэт или алкоголик — всего лишь маски весёлого карнавала. И всё это время Энди нервно покашливал. Тогда-то я и оценила преимущества воспитания при социализме: при социализме всё тлен, кроме души. Деньги не производят должного впечатления. Иерархии нет. В любом случае великий Додо напоминал рыночного торговца.

Изысканный ужин мы ели в красной тьме. Это были едва различимые зародыши каких-то инопланетян в соусе из соплей нерождённых динозавров. А когда мы оказались в стеклянной спальне, при виде накрахмаленного белья и чистых полотенец у Энди загорелись глаза.

— Теперь ты понимаешь, что такое американская мечта! — только и выдохнул он, когда за нами закрылась дверь. — А ведь мы чуть не подмочили себе репутацию!

В розовом свете нарождающегося утра я смогла хорошенько разглядеть футуристическую коробку, в которой мы провели ночь. На бетонных стенах висел Фрэнсис Бэкон и прочее добро. Всё это исчислялось миллионами и было прекрасного качества. Хозяин ещё не просыпался, и мы бродили в стеклянном тумане. И неожиданно перед моим носом Энди распахнул альбом с фотографиями. На снимках была девица в кружевных трусиках.

— О, это мы любим! — облизнулся Энди и отодвинул альбом подальше.

Потом проснулся хозяин и вышел к нам в пижаме и в парике.

— Привет, ребятки! Как дрыхли?

В утреннем свете квадратный Додо оказался двойником Кобзона. За завтраком он живо рассказывал, как тоскует по Парижу, по Европе, где он провёл свою бесшабашную молодость. Потом он заговорил о том, как однажды спрыгнул с парашютом, и я успела вставить, что свои мемуары он должен начать как раз с этого прыжка.

— Умная женщина! — с выражением неподдельного изумления сказал Додо, и оба переглянулись. В глазах у них была паника. Оба они не знали, как справиться с этим неожиданно выплывшим обстоятельством! И тут же Додо, пропустив мимо ушей разговор о мемуарах, с каким-то прямо-таки религиозным задором принялся распространяться о своей невесте.

— Жалко, что вы, братцы, не встретились с моей девочкой. Вчера утром она

уехала на съёмки.

Невеста Додо была из Солт-Лейк-Сити, из семьи мормонов.

— Четырнадцать братьев и сестёр! Мощный выхлоп! И как это ни странно, у неё изумительная задница! А какие человеческие качества! — продолжал Додо, захлебываясь от воодушевления, и облизывая губы. — Энди, ах, если бы ты только знал, какая у неё грудь!

Энди сдвинул брови, и я молча положила руку ему на колено, кабы чего не вышло.

— Дорогой, ты когда-нибудь жрал виагру? — без перехода спросил Додо, брызгая слюной и заглянув Энди прямо в глаза.

Энди снова бросил на меня беглый колючий взгляд. Но Додо говорил горячо и увлечённо.

— Короче, это её первые съёмки в Голливуде. Телесериал. Маленькая роль. Но все звёзды когда-то начинали с маленьких ролей. Я ей это устроил! Я всё оплатил. Ты понимаешь?

И тут Энди пнул меня ногой под столом. Это означало: «Ага, я же говорил, все женщины шалавы, и наверняка в данный момент она трахается в каком-то мотеле с каким-нибудь третьим ассистентом по свету».

Потом Додо стал рассказывать, как они познакомились в аэропорту, как он отвёз её в Венецию, как заказал там гондолу со знаменитым баритоном из Ла Фениче, как сделал ей предложение, скрепив его брильянтовым кольцом стоимостью во много нулей. К концу этого рассказа он уже смахивал слезинки, распинаясь, какое это произвело на неё впечатление, потому что она вскрикнула и расплакалась. И в завершение он сказал совершенно изменившимся строгим голосом:

— Моя прежняя жена была настоящая сука. Ты понимаешь, Энди, что я имею в виду!

Энди понимал. Это была мужская солидарность. А я ёрзала на стуле и никак не могла решить, как мне к этому всему отнестись. И всё это не укладывалось в мой старомодный мозг.

ГОЛЛИВУД НАВЕКИ!

Теперь я любила Энди до невозможности. Особенно за старого краба. Днём мы пошли осматривать достопримечательности Голливуда. Я мало представляла себе, что такое Лос-Анджелес. В отличие от Сан-Франциско в феврале там стояла невыносимая жара, и ещё по дороге Энди пообещал, что мы увидим

запредельное количество психов.

— Все женщины здесь похожи на Анджелину Джоли, а мужчины — на Брэда Питта. Даже пигмеи!

Ничего подобного там не было. Вся поэзия Голливуда была смыта чудовищной туристической толпой, которую я уже однажды видела в Лас-Вегасе, и мы пошли есть кишки в еврейский ресторан.

— Моя мечта свершилась. Я абсолютно счастлив. Я сижу в голливудском еврейском ресторане со своей прекрасной еврейской женой и ем фаршированные кишки! — ликовал Энди. И тут же спохватился: — А что мы будем делать потом?

— Разумеется, пойдём на кладбище. — Больше всего на свете мне хотелось потоптаться у могилы Лиз Тейлор.

По дороге мы притормозили, чтобы посмотреть в Google Map, и к нам подошёл какой-то мексиканец с велосипедом, гружёным брошюрами.

— Не желаете ли купить путеводитель? Вас интересуют виллы голливудских звёзд или кладбища?

— Кладбища, — ответили мы в один голос.

В результате мы попали на кладбище, которое называется «Голливуд навеки».

В цветочной лавочке, которую содержала старая дама, мы купили брошюрку с планом достопримечательностей. Кладбище представляло собой небольшой городок-аттракцион. Даже отдав концы, рабы любви продолжали трудиться на ниве тщеславия. Мы ездили по дорожкам на машине, разыскивая наиболее увлекательные могилы, и, припарковавшись у какого-то склепа, углубились в изучение плана. У каждого был любимый мертвец.

— Смотри, здесь был похоронен Гриффит!

— Я хочу увидеть могилу Дональда Дака!

И вдруг, уткнувшись пальцем в план, Энди замер.

— Бубуш, ты даже не представляешь, как нам повезло! Здесь похоронен Великий Багси!

— Кто такой Багси?

— Как! Тебе неизвестно, кто такой Багси? Это легендарный гангстер Бенъямин Сигел по кличке Багси. Человек, который, подобно Моисею, сотворил чудо в пустыне! Он построил казино «Фламинго», с которого началась история Лас-Вегаса! Это великий человек!

Вскоре мы оказались в крытой галерее еврейского колумбария. Колумбарий, фейсбук, окна, имена, случайные связи, грибница душ! Чтение имён успокаивало и завораживало. Ниши носили номера, как квартиры. Номера на нишах перекликались с цифрами на руках заключённых. Потом всплыла Каббала, а с ней — и моё недоверие к абстрактному и губительному миру

математики.

Наконец, дойдя до искомой таблички, мы остановились. Ниша, в которой лежал великий человек, совсем не отличалась от любой другой, и Энди на полном серьёзе опустился на колени. Прикрыв глаза, он надел кипу, которая сама собой оказалась под рукой, и начал чтение кадиша.

— Барух ата адонай элохим мэлах гаолам шегейну вэигиану лазме газе... Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля.... Он покачивался в такт этой молитве.

— Амен эхе шме раба меварах леолам леалме алмая... Да будет его великое имя благословенно вечно, на веки веков. В этом отрывке двадцать восемь букв, они, в частности, соответствуют числовому значению слова «коах» — сила Создателя; в общем, кадиш — это наше признание того, что Всевышний всемогущ. Понимаешь?

Праведники переворачивались и кувыркались в своих могилах.

— Почему в Голливуде так любят гангстеров? — спросила я после того, как мы положили камешек на выступ стены у могилы Багси.

— Потому что гангстеры боролись за права свободных граждан.

— Социалисты, что ли?

— Социалисты. Еврейская, итальянская, ирландская мафия — это история Соединённых Штатов, история эмансипации национальных меньшинств!

Могила моей избранницы находилась в христианской части «Голливуда навеки». Это была Майла Нурми — легендарная Вампира, одна из самых прекрасных актрис пятидесятых.

На следующее утро перед нашим отъездом Энди напомнил Додо о картинах.

— Ах да! Я совсем забыл! — спохватился Додо.

Я хотела принести из машины рулон, но он попросил, чтобы я оставила его в гараже. Энди был обижен, но и виду не подал.

— Сколько? — спросил Додо.

— Пять кусков, — съёжился Энди, и Додо не глядя отмусолил ему зелени.

Пора было возвращаться. В Беверли-Хиллз мы нащёлкали фотографий у самых безвкусных и напыщенных автомобилей, которые смогли бы украсить конюшню любого арабского шейха. Здесь Энди красиво позировал с купюрами в руках. И мы отправились обратно.

МИР И ПОКОЙ

После возвращения из Голливуда мы чувствовали себя героями приключенческого фильма, и между нами царили мир и покой. Но уже через несколько дней всё резко изменилось.

— Ты меня не любишь!

За окном был снова этот чудовищный город Сан-Франциско! На улицах лежали трупы. Героинщики и любители крэка медленно переползали улицы. Машины давили холмы, закатанные в асфальт. В библиотеках сидели бездомные и пускали кровавые слюни.

В Сан-Франциско я выучила, что библиотека — это исправительное учреждение строгого режима, где между столами ходит стражник с дубинкой. И стоит кому-то заснуть, разложив грабли на столе, как библиотекарь начинает колотить уснувшего, но иногда он даже помогает в поиске книг и журналов.

Теперь ощущение тюрьмы усилилось и уже не проходило ни на секунду. Казалось, что по квартире протянуты невидимые нити из романа «Мизери», фиксирующие мой каждый шаг.

— Никуда не ходи. Я не шучу. Фэнтези опять прислала мне письмо с угрозой. Она утверждает, что ждёт ребёнка. Это абсурд! У неё может быть ключ от подъезда. Ты не знаешь, что это за человек! Ты любишь меня?

Теперь по ночам вокруг нашей постели стояли мои любовники, сочинённые им из случайно подсмотренных и подслушанных фрагментов. Они вылезали из интернета, стучались в телефон, посылали телеграммы и невидимые послания. С этими любовниками я успевала перемигиваться и даже трахаться по дороге из кухни в ванную. В свою очередь, на меня плотными толпами наступали персонажи комиксов, марсиане, ковбои, дешёвые порнозвёзды и девушки из рекламы средства для выведения клопов. При этом все они сражались с усатым и длинноносым Адольфом Гитлером, вороня чёлка которого безрезультатно мела пол нашего жилья.

— Ты всё равно оставишь меня! Ты покинешь меня рано или поздно, и я буду скитаться по чужим городам, как тень, старый и одинокий.

Быть женой спятившего ветхозаветного пророка было непросто. Он слушал, но не слышал. И опять во мне раздувался гнев. Отношения Европы и Америки плачевно распадались. Америка тосковала по Европе, по всему тонкому и изящному: по готике и по французским батонам, а Европа искала в Америке дикую свободу и вседозволенность. Но она её не нашла.

ДЯДЯ

Наконец я позвонила своему дяде, и мы встретились в каком-то подземном гараже. Таким я его увидеть не ожидала. В конце концов, я описывала его Энди как математического гения, а тут нас встретил крохотный ядовитый старикашка.

— Да у него из жопы песок сыпется! — сказал дядя, с подозрением рассматривая гигантского Энди.

— А разве он старый?

Энди хлопал глазами. Мы говорили на неизвестном ему языке.

— А разве он молодой? — шурился дядя.

Было ясно, что со временем Энди, отразившись в возрасте, как в кривом зеркале, больше не мог претендовать на образец совершенства. И всё же впечатление, которое могло бы возникнуть лет тридцать назад, накрывало меня с головой, погружая в грёзы. А дядя мой, который был лет на сто старше его и одной ногой в могиле, просто не умолкал:

— Ты уже давно не выходила на улицу без надзора?

ОСТРОВ

Куда это мыплыли на пароме? Скорей всего, это была одна из его бесконечных попыток скрасить мою изоляцию. Или это было его прощание с Сан-Франциско? Быть может, мы отправились на поиски какого-то таинственного сада? Рая?

Во всяком случае, мы сидели на палубе. Ветер обдувал его измученное эмоциями лицо, и что-то трагическое и обречённое в нём сочеталось с тихим дуновением счастья. Вскоре мы доплыли до середины залива, и я увидела остров.

— Это Алькатрас, — проговорил Энди, и я вздрогнула. — Когда тюрьма опустела, её захватили индейцы. Они хотели провозгласить республику, но потом рассорились. Теперь сюда приводят туристов. Но рано или поздно это случается со всеми трагедиями — они превращаются в аттракцион.

Остров лежал на воде, как пирожное на блюде. Как самое что ни на есть отравленное пирожное. На секунду внутри у меня всё смёрзлось. Сейчас явление Алькатраса немедленно наложилось на мою историю, обнажив то, что раньше было скрыто, а именно: я сама нахожусь на острове, с которого невозможно сбежать. Это блеснуло неизбежной реальностью, как нож убийцы на тёмной ночной улице.

Зрелище тюрьмы, откуда выход был только в небытие, повернуло в моей душе что-то важное, и я решила что, если Энди когда-нибудь напишет о нашей

жизни, то это будет роман, созданный монстром. Книги де Сада скучны, воспоминания Шпеера описывают преступления как будни, в стихах Мао нет ничего кошмарного, и только от картин Караваджо исходит ужас. Кто сказал, что монстры не имеют права писать стихи или романы, а другие монстры — их читать?

Но пока мы продолжали плыть на катере, на палубе которого толпились туристы. Мотор выводил свои рулады. Всё было мирно. Волосы его шевелились от встречного ветра, а зрачки были повёрнуты вовнутрь, и он, как обычно, прислушивался к себе или к тому, что внутри у него нащёптывало кошмары.

На другой стороне залива стояли киоски, возле них копошились люди. Я не помню, что мы делали в этот день, помню только туристический магазинчик, где можно было приобрести чашку с надписью «Алькатрас» и картинкой смешного мужика в полосатой пижаме.

Навеянный размышлениями о тюрьмах и преступлениях, в ту же ночь мне приснился сон, будто сын мой убил девочку и закопал её в парке. Её мать приходит ко мне и спрашивает, видела ли я что-то подозрительное в день исчезновения её дочери. Я отрицательно качаю головой, хотя прекрасно знаю, что произошло. Я видела её посиневшее лицо, когда разжались пальцы моего сына, которые сдавливали её шею. Я помогла ему отыскать место в саду, где мы её закопали. Он быстро забыл об этом происшествии, потому что он психически болен. Сопровождающие его призраки реальнее, чем сама реальность. Но что же произошло в тот день?

Поначалу мы все играли в баскетбол. После игры мой сын сказал мне, что почувствовал угрозу, которая исходила от этой девочки. Она была совсем невзрачной. От таких людей часто исходит угроза.

Я носила в себе этот страшный секрет, как и другие нелицеприятные тайны. «У моей подруги тоже исчезла дочь. Она сбежала с бойфрендом», — соврала я матери погибшей. «Но моя дочь не такая», — обиженно сказала она. «Копайте в саду», — неожиданно ответила я. Это было указание на то, что мне самой надо копать «в саду». Значит, «в саду» — а это означает, что разгадка находится где-то рядом, совсем близко. Где?

Разгадка сидит напротив меня в кафе и пожирает меня своими печальными глазами. Разгадка — это Энди. В руках он держит газету. Пальцы его дрожат.

— Двадцать четвёртое января — стрельба в школе. Тридцатое января — ограбили известного блогера. Двадцать четвёртое декабря — лесные пожары. Двадцать третье декабря — сторонник ИГ пытался устроить теракт. Одиннадцатое февраля — взрыв у автобусного вокзала. Третье декабря — водитель направил автомобиль на людей. Пятое января — стрельба в церкви.

Первое ноября — теракт. Третье ноября — заявление по теракту. Тридцатое января — введён комендантский час. Одиннадцатое декабря — крушение военного самолёта. Пятое ноября — стрельба в офисе.

Энди был солдатом. Он написал об этом книгу. Мой дедушка тоже был солдатом и безостановочно говорил о войне, о тяжёлых переходах, контузиях. В детстве меня это тяготило. Я старалась его избегать. Тяжело жить с человеком, повернутым на своей травме. Однажды он шёл с ведрами, полными дёрна, через захваченную деревню, встретил немцев, заорал, что у него в ведрах взрывчатка. Немцы разбежались. Наверное, я бы сделала то же самое на его месте. Моя мама однажды вытащила из проруби ребёнка. Они катались на коньках. Я вынесла старую слепую собаку из горящего дома. В детстве я жила на деревьях, дралась с мальчишками, однажды на Кавказе за обиду я проткнула ножом руку хозяйскому сыну. Он был старше и больше меня. А я — быстрее. Запуганная «совком», я боялась только властей. Меня несколько раз швыряли головой о бетонную стену у нас во дворе. Я хорошо помню это ощущение. Потом — рвота, потому что сотрясение мозга. Меня спасли косички. Череп не раскололся благодаря бубликам из волос.

— Я ненавижу тех, кто пытается меня защитить. Я сама могу защитить кого угодно. Для меня это оскорбительно, когда мне говорят: здесь опасно. Ты знаешь, Энди, кто здесь самое опасное существо?

— Я, — говорит он.

— Нет, я. — Но ему совсем не смешно.

Когда-нибудь он будет бросаться на моих друзей и целовать их взапас. Со мной такое уже было. Как-то я случайно поцеловала не того человека, просто с разбегу, от полноты чувств!

Эх, Энди...

Если бы я была богатой, я бы купила ему домик, садик с цветами, кошку и стакан молока! Я бы наняла ему уборщицу и кухарку, наняла бы ему няню, этому старому солдату, держала бы я его на руках, как маленького ребёнка, и пела бы ему боевые песни. Но нет у меня ни денег, чтобы купить сад, ни голоса, чтобы петь, ни рук, чтобы обнять. И меня нет вовсе или очень скоро меня не будет, поскольку каждый из нас является суммой, пучком, итогом, толпой, совершенством, опытом, мутацией и финалом. И моя жизнь — финал. И она уже подошла к финалу.

Завязнув в узле этических и экзистенциальных вопросов, лишённая воли, я легла на дно и надеялась, что всё разрешится само. И, пока надо мной проходили бури, пришёл ответ. Ведь именно так я поступала со своей

матерью. Когда она терроризировала меня, я уходила на дно, притворяясь мёртвой, как некоторые жучки прикидываются деревяшками. И так, мы жили вместе, бытовали: он — буря и я — деревянный жучок.

СУПЕРБОЛ

Перед отъездом нам предстояло избавиться от пистолета. Самым простым решением было подарить его какому-нибудь торговцу оружием, и Энди принялся выискивать в Сети их адреса. Телефоны оружейных лавок молчали. Тогда он позвонил в полицию.

— Они говорят, что мы не имеем права выносить оружие из квартиры без специального сейфа. Это федеральный закон. Если полиция засечёт тебя с пистолетом в кармане без этого сейфа, тебя расстреляют на месте, потому что в Америке полицейский произвол.

Наконец он уговорил дежурную прислать нам домой какого-нибудь полицейского, и мы ждали его два дня, прислушиваясь к скрежету лифта. Но никто так и не пришёл. Тогда он стал обзванивать друзей и знакомых, пытаясь всучить эту проклятую игрушку, но все отказывались, отговариваясь тем, что у каждого дома и так уже целый арсенал. Наконец нашёлся тот самый племянник Кеннеди, с которым он когда-то познакомился в Алкоголиках.

— Он придёт со своим сейфом. Парень огромного размера. Тебе понравится. Он играет в американский футбол. Постарайся вести себя прилично, — предупредил Энди.

Наконец явился гигантского размера Кеннеди-мэн с крупной мандибулой (челюстью) и принёс требуемый железный ящик. Да, именно такие и были в моём вкусе :). Кеннеди-мэн излучал невинное самодовольство идиота. Во рту у него помещались три улыбки. Я сварила ему кофе, он выдул его одной ноздрёй, и я поняла, что его присутствие в нашем «обезьяннике» вызывает ощущение невероятного позора (за себя, за него, за человечество?). Наша жизнь — это порнография для умалишённых!

Конечно, их связывал американский футбол. Как я уже говорила, в юности Энди играл в школьной команде. Сокер — так называют американцы наш футбол. Для них это что-то декадентское, бокс в балетных пачках. Зато американский футбол — это нечто по-настоящему зверское и гладиаторское с большим количеством тестостерона. Большие парни толкаются, крошат друг

другу черепа и валятся в одну кучу, как расплавленный пластилин. Я подозревала, что у Энди была черепно-мозговая травма.

— Придѣшь к нам на барбекю смотреть Супербол? — предложил Кеннеди-мэн.

Оказалось, что Супербол — главный матч американского футбола — важнее Рождества и Дня благодарения.

— В этот день каждая американская семья совершает жертвоприношение и всеожжение, которое называется «барбекю».

Во всяком случае, Энди был очень возбуждѣн, и мы с нетерпением ждали этого дня.

Утром в день Супербола мы рано проснулись, помылись и сделали зарядку. Мы причесали ногти, постригли уши, надели идиотские шляпы, запаслись сладостями для детей и сели в трамвай.

Кеннеди-мэн жил в каком-то невероятно дорогом районе, где тротуары были выложены зубами марсианских девственниц. Это была белоснежная вилла с портиком, колоннами и золотой входной дверью. Энди разволновался и выглядел как обезумевший пион — раскрасневшийся и растрѣпанный. Мы звонили в эту дверь раз тридцать. Нам никто не открывал. Энди был опустошѣн и унижен. Он плакал, а я гладила его по голове и говорила, что плевать на этого идиота и что это не конец света.

НОЖ

Ещё несколько дней — и мы отчалим. Поскольку теперь жилплощадь в этом районе стоила баснословных денег, за квартиру действительно обещали дать откуп — двадцать штук баксов, хотя Энди рассчитывал на все пятьдесят.

— На два дня мы переселимся в гостиницу, а потом улетим в твой Берлин, — сказал он.

Билеты я купила заранее. Я молчала о том, что мой банковский счѣт прохудился. Можно было уйти в минус, можно было кое-что одолжить. Я так и сделала и обнаружила, что моя квартира в Берлине накрылась. Тогда я позвонила подруге.

— Можно мы поживѣм у тебя, пока не найдѣм какое-нибудь новое жильѣ?

Сейчас в «обезьяннике» было пусто, как в театре, из которого убежали все актѣры и зрители. Единственным предметом, который еще оставался, было

красное кресло. Вокруг него всё ещё лежали холмики пыли, как после попойки в аду, но Энди категорически запретил мне подметать перед уходом перед уходом, объяснив это тем, что «эти люди его унижали».

Ночью мы собрали самые что ни на есть последние обломки мебели и снесли их вниз. Потом мы избавились от его тяжёлых ковбойских сапог, поставив их у проволочного забора рядом с ночлежкой. Оставалось зеркало. Утро следующего дня началось с того, что оно разбилось. Осколки оказались на удивление тусклыми. Глядя на них, я испытала необъяснимый страх.

Когда мы сняли с окон знаменитые красные занавески, неожиданно он заговорил о том, как нью-йоркский художник Карл Андре выкинул из окна свою жену, добавив, что убийство путём выбрасывания из окна называется дефинестрацией!

Я хорошо помню, как хлопнула дверь холодильника, заставив меня вздрогнуть. Да, он был голоден, в то время как у меня совершенно слипся желудок. Он кромсал колбасу. Когда я опускала осколки зеркала в стоявшее у входной двери ведро, над моим ухом раздалось:

— Нож никуда не годится. Им даже невозможно разрезать колбасу.

Он стоял прямо у меня за спиной, и его взгляд был направлен в ведро. Вдруг он уронил туда нож, который скользнул по моей руке, и я уставилась на какую-то неожиданно возникшую красную полосу.

А он уже сидел на чемодане, будто ничего не произошло, и жевал. И стоя в проёме двери, я слышала звук пережёвываемой колбасы, чавканье, глотки, и чувствовала, как пища продвигается вниз по его пищеводу. На пол упало несколько красных капель и я отёрла палец салфеткой. А он продолжал жевать и смотреть внутрь себя.

И тут впервые с тех пор, как я приехала в Сан-Франциско, я не смогла сдержать слёзы. Они просто градом катились из моих глаз. Я пошла в ванную, подставила руки под ледяную воду и умылась. Когда я вернулась, он все ещё сидел неподвижно и жевал, запертый в каком-то своём внутреннем пространстве.

Вскоре пришёл какой-то хмырь из домоуправления, оглядел пожарище и всучил Энди конверт с двадцатью тысячами долларов. Энди не глядя сунул его в задний карман штанов. Теперь он был богат. Теперь он был на пороге другой жизни. Завтра наш самолёт вылетит в Берлин.

СУПЕР-8

Мы проходили мимо множество раз. Большая жёлтая восьмёрка. Она всегда светится в темноте в самом конце улицы. Что-то вроде театральных декораций. В этом мотеле мы и переночевали.

До отлёта оставалось двенадцать часов. Я смотрела ему в лицо. Никакой ненависти не было. Был только животный страх. Я даже не понимала, как это началось, но перед глазами у меня всё дробилось, орали какие-то голоса: «...Зубы ему выбили лет двадцать назад в пьяной драке...», «А ты правда сказала ему, что в Германии мужчины мочатся сидя?», «Сказала...», «Он разозлился?», «Ещё как... Разозлился и выгнул грудь колесом...», «Мы — ни за что!... Американцы — великая нация. Американцы ссут стоя...» И до сих пор я всегда его так и представляю: стоя на высокой скале, он справляет нужду в пропасть на фоне американского флага.

В этом отеле не было его матери и никто не курил на лестнице, никто не оставлял в пепельницах бычки, измазанные красной помадой, никто не дышал в темноте около лифта! Но дело было вовсе не в этом. Это смешные мелочи, глупости.

В то утро в гостиничном номере он ползал, умолял, плакал, валялся на полу.

— Ты не можешь этого сделать. Ты любишь меня. Ты не можешь! Это невозможно.

А мне хотелось согнуться, провалиться в тартарары, оглохнуть, выскочить на улицу, вскочить в первую попавшуюся машину, выломать щит, соединить провода, включить мотор, выехать ко всем чертям из города, бросить машину на дороге, найти скалу, побежать на самую верхотуру и прыгнуть, не считая до трёх.

Потом он вытащил нож, который, как мальчишка, всегда носил с собой, и стал размахивать им в воздухе.

— Я перережу себе вены!

Уже кто-то колотил в дверь. А он орал и заламывал мне руки, огромный и очень страшный. Я успела сунуть паспорт в карман, крикнула, что сейчас вызову полицию. Он отступил. Тогда я скатилась по лестнице. Он за мной. Когда он бежал, он потерял ботинок. Потом мы стояли перед мотелем. Перед нами был бесконечный поток машин. Он не стал меня останавливать, а вместо этого бессильно повалился на тротуар, распял себя там, заорал, как большой раненый зверь. Стали сбегаться люди. Потом я услышала тормоза. Такси. Дверь захлопнулась. Он дополз то такси, стучал в стекло.

— Куда ехать? — спокойно спросила водитель.

Это была пожилая женщина. Я отчётливо произнесла адрес своего дяди. Машина тронулась с места. Я не оглянулась. Внутри было пусто, как на Северном полюсе. Это было чувство тотального, сокрушительного одиночества. Ехали мы минут десять, но мне показалось — час. Всю дорогу я ничего не слышала и ничего не видела. Не помню, как мы доехали. Помню только фасад дядиного дома. Лицо консьержки. Лифт. И уже перед дверью дядиной квартиры. Телефон разрывается. Теперь я действовала как робот: вытащить из телефона сим-карту, сломать её надвое, бросить в урну. Я была страшно напугана случившимся. Зато, у меня было глухое ощущение свободы, будто с плеч свалилась гора. Свобода душила меня, тикала внутри, нестерпимо болела. Это была бомба.

Тогда я не понимала, что все документы остались в отеле. Все, кроме паспорта. Там были все мои вещи, банковские карточки. Но мне было всё равно. Я постучала к дяде, и он стал шутить и хохотать как полоумный. Потом кто-то трезвонил в дверь, кто-то стучал, позвонил консьерж. Прибежал испуганный сосед.

— Кто-то внизу.

Мне нужно было несколько часов просидеть с дядей. Он только сказал мне, что я правильно сделала и что хорошо, что улетаю в Берлин, а потом рассказывал какие-то байки и опять хохотал и шутил, будто были мы на каком-то празднике или на викторине, и я больше не могла его слушать, потому что голова моя разламывалась.

Как я попала в аэропорт? Кажется, я боялась опоздать. Мы бежали к метро. Как будто я вскочила в уходящий поезд, а дядя не успел. Он догонял меня следующим. Мы думали, что едем в одном поезде, и бродили по вагонам в поисках друг друга, как в лабиринте, выскакивали на станциях, шли через тамбуры. И будто электричка эта шла не через пригороды калифорнийского города, а через какие-то монгольские степи. Это была бесконечная электричка, длинная и полупустая. Я куда-то бежала. Я куда-то летела. Я куда-то прилетела. Я была в каком-то городе. Я с кем-то говорила. Меня, кажется, никто не преследовал. Но по дороге меня не отпускала мысль, что большая чёрная тень гонится за мной по пятам. Сейчас он меня догонит. Убьёт. У него есть билет. Он будет в самолёте. Он будет скандалить. Он захватит самолёт. Он убьёт пилота.

В вагоне передо мной сидел человек в белой рубашке с дорогим чемоданом. Он смотрел на меня в упор, не мигая. Рот его был плотно сжат, и почему-то я хорошо его запомнила. Наверное, в этот момент моё лицо приняло

особенное выражение.

Наконец я вышла на последней станции в страхе, что сейчас откуда ни возьмись появится сумасшедшая чёрная гора. Потом я увидела дядю и мы обнялись у турникетов.

— Я уже старый. Наверняка я вижу тебя в последний раз в своей жизни, — сказал он.

НАД СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ

Стюардесса с подносом, густо заставленным дрожащими стаканчиками, проходит по воздушному коридору на высоте две тысячи метров над Северным полюсом. В стаканчиках — минеральная вода с высоким содержанием мыльных пузырей. Пять шагов — и она переместилась на четырёхста километров в сторону мыса Глупой Надежды. Сейчас девушка наклонилась надо мной, и я вижу густой слой пудры у неё на щеках.

— Вам плохо? Хотите воды? — спрашивает стюардесса.

— Нет, спасибо. Мне, наоборот, очень хорошо, — говорю я и смотрю на пустующее кресло рядом с моим.

На самом деле меня тошнит. Здесь пахнет средством от тараканов. Иногда до меня доносится запах навоза и сена. Это скаковых лошадей из Сан-Франциско везут обратно в Европу. И что им там не понравилось, этим скаковым лошадям? А что они чувствуют сейчас, когда их подбросили в воздух? Путешествие кажется мучительным и одновременно воздействует как что-то бодряще. Несколько часов подряд я наблюдаю за бесконечным ледяным панцирем. Кажется, благодаря всеобщему потеплению лёд начинает приходить в движение. Огромные потоки воды гейзерами вырываются из-под льдин. Я вижу дельфинов и китов и не понимаю, что именно произошло несколько часов назад, но чувствую, что избежала смертельной опасности. Я закрываю глаза, и у меня начинается слуховая и зрительная галлюцинация:

Рядом со мной в пустующем кресле сидит Софи Кушнер. Сейчас ей лет двенадцать, и у неё нежно-персиковые щёки. В руках у неё плюшевый заяц. Она отрывает ему уши и сворачивает шею. Потом она кладёт животное на поднос и отдаёт стюардессе.

— Безумие — это соблазн, — говорит она.